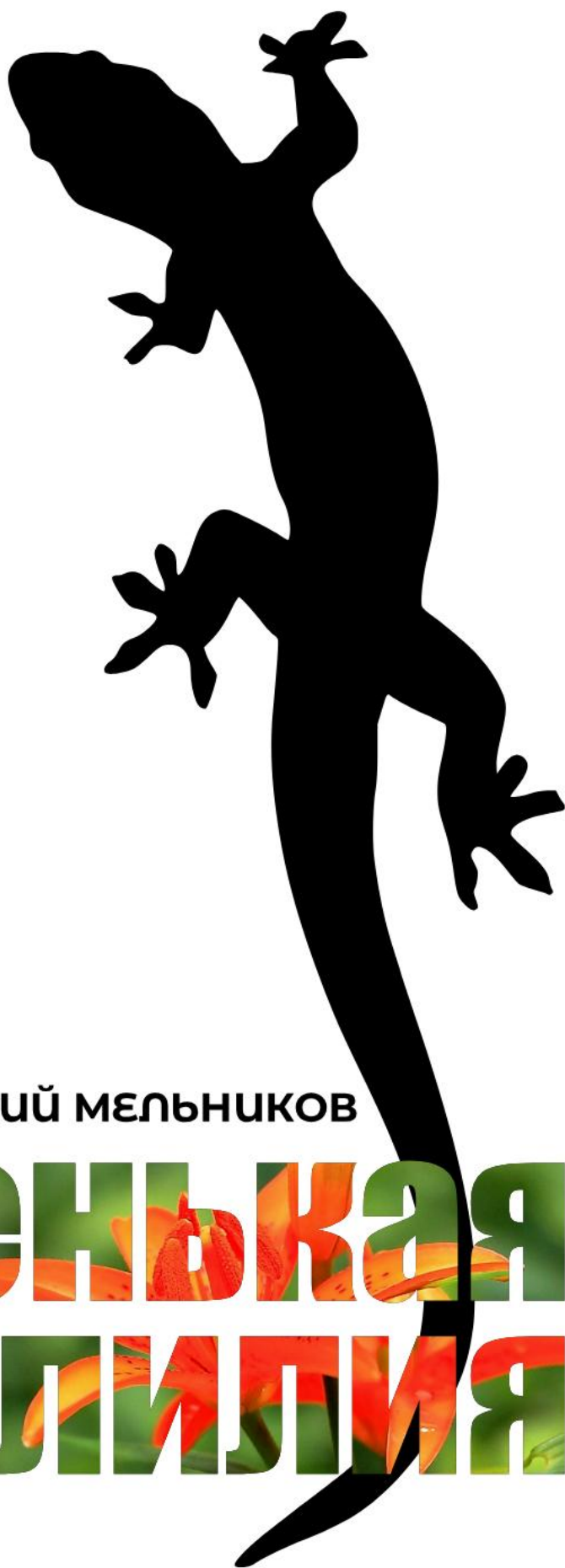


ひめゆり



ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ

Маленькая Лилия

Маленькая лилия.....	3
Пролог	3
Глава 1. Пробуждение.....	7
Глава 2. Лес	13
Глава 3. Подсолнух.....	18
Глава 4. Анатомия боли	23
Глава 5. Струна.....	28
Глава 6. Стена бумажных птиц	34
Глава 7. Новая кожа	39
Глава 8. Звонящая пустота	45
Глава 9. Сентябрьские числа	51
Глава 10. Маленькая лилия	58
Глава 11. Дом	65
Глава 12. Жуки.....	73
Глава 13. Вкус травы.....	81
Глава 14. Мальчик	89
Глава 15. Ящерица, солдат и часовой	96
Глава 16. Арифметика взгляда.....	103
Глава 17. Камень для имён	110
Глава 18. Апрельский дождь	116
Глава 19. Предложение.....	121
Глава 20. Письма.....	130
Глава 21. Пепел	132
Глава 22. Боги Токио	137
Глава 23. Окинава	144
Эпилог	153
Примечания.....	157

Маленькая лилия

Я твоё повторяю имя
По ночам во тьме молчаливой,
и звучит оно так отдалённо,
как ещё никогда не звучало.
Это имя дальше, чем звезды,
и печальней, чем дождь усталый

— *Федерико Гарсиа Лорка*

Пролог

Она сидела на тёплом камне.

Камень помнил утро — помнил, как первый луч коснулся его шершавой поверхности, как роса лениво стекла по бокам, исчезая в сухой земле, как он начал медленно, по капле, вбирать в себя слепящий зенитный свет, — и теперь, к полудню, он хранил в себе столько плотного, густого тепла, что можно было бы сварить на нём яйцо, если бы у кого-нибудь в этом мире нашлось яйцо, и если бы кому-нибудь захотелось его варить, и если бы вообще существовал кто-то, кроме неё самой.

Но никого не было. Был только камень. Было солнце, лежавшее на плечах тяжёлой золотой монетой. Был запах — сухой, горьковатый, как выдох земли, которая давно перестала молиться о дожде и забыла имена своих богов. Трава пахла не травой, она пахла памятью о траве: то, что осталось от стеблей после месяцев безводья и зноя, — пылью, в которой ещё теплился едва различимый, призрачный дух дикой мяты и полыни. Где-то далеко, может быть, за холмом, может быть, за морем — она ещё не знала, что такое море, но чувствовала его тонкую, соль разъедающую завязь в воздухе, — где-то далеко горело что-то большое. Дым не был виден, небо оставалось прозрачным и звенящим, но нос его различал: едва заметную, старую горечь, словно кто-то положил на самый край горизонта раскалённый, сочащийся антрацитовым блеском уголь.

Она не помнила, как оказалась здесь. Ей казалось, что она всегда здесь сидела, обхватив руками острые, сухие коленки.

Валун, на котором она устроилась, был не один. Вокруг, словно остановленные на полпути к превращению в гору или разрушению в прах, лежали другие — серые, рыжие, с прожилками белого кварца, похожими на замёрзшие во времени молнии. Они были тёплые все, каждый по-своему: один — как ладонь матери, пахнувшая рисовой мукой и мылом, другой — как горячее дыхание собаки, третий — как щёки после долгого, исступлённого плача, когда слёзы уже кончились, а жар остался. Между камнями росли сухие кустики — не то иссоп, не то колючий кустарник, — чьи стебли были тонки и упруги, как

ржавая проволока, и мелкие листья пахли так остро, что от этого запаха хотелось чихнуть и плакать одновременно.

Потом она увидела ящерицу.

Ящерица лежала на плоском камне — чуть левее и выше её ладони — и пила солнце. Она была похожа на крошечного дракона, вылитого из старой малахитовой крошки и жидкой, потемневшей бронзы. Изумрудная чешуя ловила лучи, превращая их в слепящие, микроскопические искры. Она лежала так неподвижно, что в первое мгновение девочка приняла её за древний рисунок, выбитый на камне: та же серо-коричневая изнанка, те же тёмные крапинки, тот же мелкий, почти нечеловеческий узор. Но потом ящерица моргнула — одним мгновенным, полупрозрачным сокращением кожистой перепонки, — и девочка поняла: это живое. Внутри этого маленького тела пульсировало время.

Девочка не шевелилась. Она знала — не от кого-то, не из книжных слов — от самого факта собственного присутствия здесь, в этом безжалостном свете, — она знала, что нужно быть тихой. Тише, чем сама тишина. Тише, чем ползущая по песчинкам тень.

Ящерица грелась.

Её тело было распластано по камню с тем абсолютным, жутковатым доверием, которое доступно только существам с холодной кровью. Она впускала в себя полдень — через чешую, через костяные пластины черепа, через каждый тончайший суставчик хвоста, — и превращала этот жар в движение, в чистую жизнь, в подспудную способность в один миг исчезнуть в расщелине, если мир вокруг вдруг станет небезопасным. Но мир пока не был небезопасным. Мир состоял из тепла, камня и запаха полыни. Мир был красив.

Девочка смотрела на ящерицу и видела всё с пугающей, почти болезненной чёткостью:

Пять пальцев каждой крошечной лапки, прижатых к шершавому кварцу, — с едва различимыми присосками на кончиках, похожими на маковые зёрнышки;

Бока, которые двигались — едва-едва, но непрерывно, — и от этого движения по чешуе пробегала мелкая рябь, как по зеркалу воды, в которую бросили невидимый волосок, только наоборот: не сверху вниз, а изнутри наружу;

Хвост. Длинный, изящный, уходящий от тела, как фраза, которую не успели или поленились закончить, — он лежал на камне идеальной дугой, и каждая его чешуйка отбрасывала свою собственную, отдельную, миниатюрную тень;

И глаза. Два круглых, выпуклых, жёлтых глаза с вертикальными зрачками, в которых не было ни мысли, ни страха — ничего, кроме готовности уйти. Вспыхнуть и исчезнуть.

Девочка думала о том, как правильно быть ящерицей. Как хорошо — греться на раскалённом валуне и знать, что ты — продолжение этого валуна, и часть солнца, и часть полынного суховея, и что нет никакой разницы между твоим телом и этим миром, потому что ты — просто одно из мест, где мир решил стать плотным и осязаемым на какое-то короткое время.

Она протянула руку — медленно, как движется человек, идущий по горной тропе, где-то далеко от тебя, — не чтобы потрогать — чтобы почувствовать, просто стать ближе, — и её пальцы, испачканные в серой известковой пыли, зависли в воздухе.

И тогда раздался Звук.

Он пришёл не справа и не слева, он пришёл отовсюду — сверху, из вылинявшей синевы, и снизу, из гранитных недр. Это не было громом — гром она бы узнала, гром она помнила всем своим телом, помнила тем, как воздух вдруг оборачивается железной стеной и бьёт тебя в грудь, в уши, выбивая зубы и мысли. Это было другое. Обвал. Натужный, утробный треск разрываемой ткани мира, расколовшегося по какому-то невидимому, древнему шву, — как если бы огромная невидимая рука взяла саму гору и согнула её пополам, ломая хребет.

Камни вокруг глухо, страшно загудели. Земля передала сухую, мелкую вибрацию в копчик, в бёдра, в самое основание черепа — не громко, но так глубоко, что этот звук воспринимался не барабанными перепонками, а самым позвоночником. Где-то — близко, за спиной или внутри самой скалы — тяжелейший пласт сдвинулся, сорвался и рассыпался в прах, и от этого невидимого разрушения воздух мгновенно наполнился каменной пудрой. Она не имела вкуса, но имела весомую плотность: она оседала на сухих губах, на ресницах, на раскрытых, замерших ладонях.

Птицы.

Они поднялись все разом — не стая, не две — все, до единой, все пернатые существа, которые прятались до этого момента в расщелинах, в колючих кустах, на уступах. Их крик был не пением и не щебетом — он был чистым, сухим, нечленораздельным ужасом, превращённым в ультразвуковую волну. Они кричали так, как кричат перед лицом окончательного уничтожения существа, у которых нет слов и потому нет возможности солгать или утешиться. Их крик был правдив — безнадёжно, абсолютно правдив — и от этой плотной правды воздух сгустился, стал матовым, и на мгновение солнце над головой померкло.

Тень.

Она упала на камень стремительно и хищно — не как обычное облако, а как падение чего-то тяжёлого и невидимого. Это было не просто затемнение, это было столкновение холода и тепла. Тень была густой, почти антрацитовый, без градиентов и полутонов — абсолютная, глухая невозможность света. Потянуло внезапным, склеротическим холодом склепа.

Ящерица исчезла.

Нет, это было не исчезновение. В её первобытном мозгу сработал древний, непреложный закон: чтобы остаться в живых, нужно уметь отсечь часть себя. Нужно оставить миру то, за что он пытается тебя удержать. Раздался едва слышный, влажный, короткий щелчок — звук разрыва живых волокон. Изумрудно-бронзовая молния метнулась в тёмную, спасительную трещину между камнями. Но на валуне остался лежать хвост.

Он не был мёртв. Он извивался, подпрыгивал, яростно и ритмично хлестал по серому камню, танцуя свой собственный, безумный, предсмертный танец. В этом крошечном обручке плоти, в этой чешуйчатой полоске было столько отчаянной, бьющейся, слепой энергии, словно он пытался обмануть упавшую тень, принять весь удар на себя, пока сама ящерица затихала в глубине расселины. Это была чистая физиология, возведённая в абсолют красоты: ритм нервов, ещё не понявших, что они больше никому не принадлежат. Хвост изгибался, как натянутая и отпущенная струна, которая всё ещё дрожит, помня свою последнюю, самую высокую ноту.

Девочка ахнула. Шок пригвоздил её к месту, но затем она медленно, словно подчиняясь чужой воле, протянула руку.

Её пальцы осторожно смыкались на бьющемся кусочке.

Он лёг ей в ладонь. Тёплый. Невесомый. Судорожно подвижный — его кончик ещё подрагивал, как нитка на ветру. Она чувствовала каждой клеткой кожи, каждым рецептором на подушечках пальцев, как гладки и твёрдо-холодны были чешуйки на изгибах, и как между ними проступала живая, нежная, розоватая кожа — влажная, как кончик языка.

И тут же её настиг запах. Это была не кровь — ящерицы не пахнут железом и человеческой бойней. Это был другой запах — тонкий, сухой, как у разломанной зелёной ветки, как у сока, который выступает на месте насильственного разрыва. Запах расставания. Запах того, как живое оставляет часть себя, чтобы продолжать дышать.

Она смотрела на хвост. У него не было глаз, но он лежал в её ладони так доверчиво и тяжело, словно это было самое драгоценное приношение. Кончик наконец перестал дёргаться. Последняя судорога утихла, оставив лишь тепло.

Девочка подняла глаза. Расщелина, куда укрылся маленький изумрудный дракон, была бездонной и безмолвной. Оттуда не доносилось ни звука.

Каменная пыль медленно осела, закружившись в невидимых потоках воздуха. Птицы замолкли, спрятавшись обратно в свои каменные норы. Солнце вернулось — точно такое же, каким оно было до звука, до страшной тени и птичьего крика. Валун под ней снова наливался золотым жаром, полынь пахла всё так же горько, и на самом краю земли всё так же бездымно тлел невидимый уголёк.

Она закрыла ладонь — медленно, бережно, как закрывают старую, священную книгу, — и прижала кулак к груди, прямо к бьющемуся сердцу.

Она не плакала. Она не улыбалась. Она просто сидела на раскалённом камне посреди бесконечного «сейчас», держа в руках то, что было потеряно, и зная, что эта потеря — самое настоящее и честное, что у неё осталось.

Потом навалился сон. Густой и тёплый, как шерстяное одеяло.

А когда она проснулась, ладонь была пуста. Хвост исчез — унесённый ветром, муравьями или самой землёй. Но на коже остались два тонких, полукруглых следа от чешуек, вдавленных в плоть так глубоко, словно это была печать. Или клеймо.

Она долго смотрела на эти следы, пока солнце не перевалило за вершину скалы, и длинная, прохладная тень не легла ей на колени. Тогда она поднялась, отряхнула пыль с подола и пошла.

Куда? Она ещё не знала.

Глава 1. Пробуждение

Клинок изогнулся, как клюв хищной птицы, и на мгновение поймал ослепительное, белое солнце — поймал так резко, вспыхнул так чисто, что глазу внутри сна стало больно.

Она стояла в податливой, прохладной тени каменной арки и видела всё вокруг с пугающей, хрустальной ясностью, какая бывает только за секунду до того, как проснёшься. Мужчина — высокий, с лицом, выдубленным пустынными ветрами до цвета старой, потемневшей бронзы, — шагнул к человеку в светлых одеждах. Движение его было безупречным по своей ленивой грации, почти нежным, почти любовным: рука его легко, без усилия нырнула в складки грубой шерсти на чужой груди, и металл вошёл в плоть со странным, мягким, шелестящим звуком, будто нож разрезал перезрелую дыню. Это было торжество чистой геометрии, идеальный, завершённый в себе акт слияния стали и человеческого тепла. На блеклом, неотбелённом сукне мгновенно, лепесток за лепестком, начала распускаться влажная алая хризантема. Она росла, пульсируя той самой жизнью, которая прямо сейчас покидала тело,

чтобы стать просто невероятно красивым, симметричным пятном на ткани. И это пахло горячим железом, горькой медью и раскалённой пылью, от которой першило в горле.

Человек с лицом цвета бронзы обернулся. Его глаза, чёрные и сухие, как вяленые маслины, встретились с её взглядом, пронзив её насквозь сквозь толщу веков и чужой памяти.

— Беги! — его крик разорвал звенящую полуденную тишину площади, как разрывают плотный шёлк. — Тамар! Беги!

И она побежала.

Узкие, сдавленные белым известняком улицы бросились ей навстречу. Воздух обжигал гортань, пах забродившим мёдом и перезрелым инжиром, который лопался под её босыми ногами. Ноги били по раскалённому, неровному камню, подошвы горели, но останавливаться было нельзя, потому что за спиной её — она чувствовала это не ушами — кожей между лопаток — двигалось что-то огромное, тяжёлое, от чего стены домов мелко и страшно дрожали. Она неслась, сбивая плечами плетёные корзины, и темно-лиловые, сочащиеся сладким соком плоды сыпались под колёса невидимых колесниц. Она нырнула в глухой переулок, и ей в лицо ударили яркие, влажные, только что выкрашенные ткани, развешанные от стены до стены: карминово-красные, густо-шафрановые, пронзительно-синие полотнища опутывали её, липли к губам, слепили, душили, лишали имени...

— Накаяма. Проснись. Слышишь? Проснись.

Синяя ткань сна мгновенно стала жёсткой, серой и холодной. Она больше не пахла ни инжиром, ни восточными пряностями. Она пахла закипевшим, многодневным потом, гнилой соломой и подспудным, липким страхом.

Юрико открыла глаза и судорожно, с хрипом вдохнула воздух, словно вынырнула со дна глубокого, заброшенного колодца. Тонкие, ледяные пальцы Мико всё ещё мёртвой хваткой сжимали её плечо, впиваясь в самую кость сквозь грязную ткань.

— Вставай, — сказала Мико. Голос её был ровным, сухим и пустым, как перевёрнутая терракотовая чаша, из которой выпито всё до последней капли. — Вставай, Юрико. Они пришли.

Вокруг была не залитая солнцем древняя площадь, а Ихамигама — пещера, ставшая третьим хирургическим госпиталем префектуры Окинава. Мрак здесь был не просто отсутствием света; он был густым, пористым, осязаемым существом, которое давило на барабанные перепонки и пахло так, что к горлу непрерывно подкатывала тяжёлая, кислая тошнота. Этот тошнотворный, сладковатый дух гангрены и разлагающейся живой плоти смешивался здесь с резкой, разъедающей ноздри вонью хлорной извести,

застоявшейся мочи, карболки и сырой, перекопанной взрывами земли. С невидимого, сочащегося влагой каменного свода с монотонностью сломанного хронометра капала вода. Кап. Кап. Кап. Этот звук въедался в подкорку, отсчитывая секунды чужих жизней.

Девочки — ученицы Первой женской школы — сидели вповалку во влажной темноте, сбившись в кучи, как замёрзшие, напуганные птенцы. Их школьная форма, когда-то безупречно аккуратная, с матросскими воротниками и накрахмаленными блузками, теперь стояла колом от въевшейся грязи, глины и бурой, засохшей чужой крови. Они были детьми — обычными пятнадцатисемнадцатилетними девочками из деревни Мавасиасато, с острыми, выпирающими от голода коленками, тонкими шеями и искусанными до мяса, потрескавшимися губами. Их трясло — не от холода, хотя в пещере стояла могильная, костяная сырость — от того, что страх внутри них уже перерос стадию слёз и превратился в глухое, тупое оцепенение.

В центре пещеры, освещённый дрожащим, умирающим лучом керосиновой лампы, стоял господин учитель. Его лицо, когда-то округлое и доброе, за эти недели заострилось, превратившись в обтянутый желтоватой пергаментной кожей череп. Очки в круглой оправе съехали набекрень, стёкла были покрыты сеткой мелких царапин и известковой пылью, но он не замечал этого. Он казался здесь, под этими низкими сводами, слишком большим и слишком прямым — человеком, который уже принял решение и теперь несёт его, как несут могильную плиту.

— Девочки, — сказал учитель. Голос его скрипел и спотыкался, как несмазанная дверная петля, но в затихшей пещере он разнёсся под подтолку, отражаясь от влажных стен. — Слушайте меня внимательно. Наша служба... Отряд Химеюри распускается. Приказ штаба. Армия больше не может удерживать этот рубеж и защищать вас.

По пещере пронёсся тихий, коллективный судорожный вздох — так шелестят сухие листья, когда по ним проходит осенний ветер. Те, кто спал — проснулись. Те, кто тихо стонал на гнилых матах в глубине — замолкли. Служба закончилась? Для них, считавших свою работу в госпитале чем-то вечным и нерушимым, это «закончилась» прозвучало так, словно им сказали, что завтра солнце просто не взойдёт над Окинавой.

— Вы знаете, кто идёт сюда, — продолжил учитель, и в его глазах, утонувших в чёрных глазницах, на мгновение блеснул сумасшедший, лихорадочный огонь. — Американцы. Длинноносые демоны. Они не пощадят никого. Если они захватят вас живыми... то, что они сделают с вами, будет хуже смерти тысячекратно. Они обесчестят вас, разорвут на части ваши тела и выбросят собакам. Вы — дочери Императора, ученицы Первой школы. Вы не должны сдаться в плен.

Он повернулся и опустил на каменный пол тяжёлый холщовый рюкзак. Из рюкзака раздался странный — глухой, сухой, чисто керамический звук. Так бьются друг о друга керамические горшки на базаре.

Старшая медсестра, чьё лицо было белым как мел, начала передавать по рядам эти круглые, шершавые предметы. Когда очередь дошла до Юрико, её рука опустилась в мешок, и пальцы наткнулись на что-то холодное и увесистое.

— Это граната, — тихо, почти беззвучно сказал сэнсэй. — «Тип четыре». Вы знаете, как ею пользоваться. Оружие отчаяния.

Она была сделана не из железа. Это был круглый шар из грубой, обожжённой тёмно-коричневой глины, покрытый тонким слоем шершавой глазури, величиной с крупный окинавский апельсин. Её делали не на военных заводах, а в гончарных мастерских, вручную, когда у Империи кончился металл.

— И ещё кое-что, — учитель достал из кармана маленькие бумажные пакетики, которые шуршали в его дрожащих пальцах. — Это цианид. На случай, если граната даст осечку. Там, у выхода, на кухне остались два бидона со сгущённым молоком. Вы можете... добавить это туда. Размешать. И выпить. Так будет легче.

Никто не заплакал. Слово «молоко» — единственное мирное, сладкое слово из прошлой жизни — прозвучало здесь как страшный, нелепый анекдот.

— Учитель... — голос девочки из угла пещеры, где лежали самые тяжёлые, ампутированные, дрожал так сильно, что слова ломались. — А как же раненые? Мы оставим их? Что будет с ними?

Минато Кобаяси на секунду замер. Его руки, держащие керамический шар, задрожали сильнее, но он не повернул головы во мрак, туда, где на сочащихся гноем матах хрипели люди с распоротыми животами.

— У них, — сухо и отрывисто ответил он, — тоже будет свой выбор.

Юрико посмотрела на свою форму. Пальцы её сами собой, с какой-то автоматической, домашней аккуратностью начали расправлять измятый матросский воротник, застёгивать уцелевшие пуговицы блузки. Это было невыносимо абсурдно: мир рушился, стены пещеры ходили ходуном от далёких ударов корабельной артиллерии, а они, как перед уроком каллиграфии, поправляли одежду. Рядом Мико, не проронив ни слова, прятала свою керамическую гранату в глубокий карман тёмных хакама. Белая лента в её волосах была серой от пыли, но завязана идеальным, правильным бантом.

— Пошли, — скомандовал сэнсэй.

И они побежали.

Выход из пещеры Ихамигама не просто выпустил их — он буквально выплюнул их наружу, прямо в разверзшееся, кипящее жерло ада. Небо над

Окиनावой не было синим; оно было цвета свернувшейся, запёкшейся крови, вспоротое чёрными столбами жирного дыма. Весь остров трясся, ходил ходуном под их босыми подошвами, словно гигантский раненый кит, которому всадили в спину тысячу гарпунов сразу.

Джунгли приняли их мгновенно, поглощая без остатка, как мутная вода поглощает брошенный камень. Воздух снаружи оказался плотным, горячим, как тропический бульон; он был настолько влажным, что блузка Юрико в секунду промокла, превратившись в тонкую, липкую плёнку, намертво прилипшую к телу. Этот воздух пах гарью, кордитом, разорванной древесиной панданусов и сладким, удушливым, тошнотворным запахом гниения — запахом сотен тел, которые лежали в этих зарослях уже не первый день. Звуки разрывов сливались в один сплошной, гудящий металлический аккорд, от которого вибрировали зубы и кости.

Они бежали сквозь хаос зелени. Огромные листья папоротников, похожие на костлявые рёбра доисторических рыб, с размаху хлестали по лицам, оставляя липкие зелёные полосы. Время здесь потеряло свою линейность: оно то растягивалось, превращая каждый шаг в бесконечную вязкую пытку, то несло вкач, путая вчерашний день, где ещё пели птицы, с сегодняшним, где не было ничего, кроме смерти.

Девочки рассыпались по зарослям, как жемчужины с порванной нити. Юрико видела, как впереди, метрах в двадцати, прямо на тропинке вспыхнул ослепительно-белый, беззвучный шар артиллерийского снаряда. Две бегущие фигурки в школьных юбках просто растворились в этой вспышке, вознеслись в зенит вместе со столбом красной окинавской глины, превратившись в пыль, в ничто, в миг чистого разрушения жизни. Юрико даже не успела испугаться. Она просто зафиксировала это глазами и побежала дальше, чувствуя, как две гранаты в карманах её хакама бьют по бёдрам — тяжёлые, ритмичные, как второе и третье сердце.

Они остановились только тогда, когда лёгкие начали гореть изнутри живым огнём, а воздух в груди стал похож на толчёное стекло. Гул орудий здесь, на склоне холма, стал чуть глуше, завязнув в плотных зарослях баньянов.

Они остались одни. Только Юрико и Мико. Остальные силуэты растаяли в зелёном аду.

Тяжело, с хрипом дыша, Мико прислонилась к стволу дерева, из трещины которого медленно сочился густой белый сок, похожий на молоко. Её лицо было полностью покрыто чёрной копотью и грязью, и на этом страшном фоне белки глаз казались неестественно огромными, почти бездонными. Она сунула руку в карман хакама и медленно, словно не веря собственным пальцам, достала керамический шар гранаты.

Юрико замерла, прижавшись спиной к мокрому камню. Сердце стучало в самые уши.

— Мико, — чуть слышно прошептала она. Она знала, что сейчас должно произойти.

Нас же учили. Учили в школе, учили на плацу. Прижать к животу. Выдернуть чеку. Сильно стукнуть капсюлем о камень. Сделать это ради Императора. Сделать это, чтобы дьяволы не коснулись чистых блузок.

Мико долго, бесконечно долго смотрела на коричневую, запечённую глину в своей руке. В её огромных глазах не было ни фанатизма учителя, ни патриотического экстаза, ни даже страха. В них была странная, пугающая, взрослая прозрачность. Опустошение. Она вдруг коротко размахнулась — совсем не так, как учат солдат, а просто, по-детски — и бросила гранату. Не себе под ноги. Не в скалу. Она швырнула её далеко в сторону, в густые, чавкающие заросли пандануса, в самую грязь.

Снаряд описал нелепую дугу, мягко шлёпнулся в жижу и исчез. Ни взрыва. Ни чести. Ни вспышки хризантемы. Просто кусок обожжённой земли вернулся обратно в землю. А следом за первой Мико вытащила и выбросила вторую.

Юрико смотрела на то место, где замкнулась грязь, и чувствовала, как внутри неё с оглушительным, стеклянным звоном лопается какая-то невидимая струна, державшая её всю жизнь. Мико повернулась к ней, протянула пустые, испачканные в копоты ладони и молча посмотрела в глаза. И в этом взгляде было всё: *мы просто дети, я отказываюсь, это не наша война, мы не будем этого делать.*

Юрико медленно, словно чужая рука управляла её телом, опустила пальцы в собственный карман.

Ладонь сомкнулась на шершавом теле керамической гранаты «Тип четыре».

И в этот момент мир вокруг неё словно затих. Юрико ощутила её всем своим существом, каждым микроскопическим рецептором кожи. Глина была увесистой, плотной и удивительно, нелепо тёплой. Но это было не тепло полуденного солнца из её сна и не тепло материнской руки — граната нагрелась от её собственного тела, впитала в себя жар её бешено бьющейся крови, её пот и её жизнь. На ощупь поверхность была пористой, неровной, со следами пальцев неизвестного мастера-гончара, который обжигал её в печи. На боку шара Юрико явственно прощупала тонкий, острый шов от формы — он врезался в нежную кожу её ладони, оставляя глубокий след. Если чуть-чуть потереть пальцем, сухая, плохо обожжённая глина начинала крошиться, оставляя на подушечках пальцев мелкую, коричневую, пахнущую печью пудру. Тонкая трещинка проходила у самого основания запала — как линия жизни на руке,

которая внезапно обрывается. В этой вещи не было ни стального величия, ни военной гордости. Это была просто мёртвая, холодная земля, которую упаковали в форму, набили взрывчаткой и заставили человеческое тепло работать на уничтожение. Эта глиняная гиря весила слишком много — она тянула её вниз, к могилам пещеры, к приказу учителя, к чужой, навязанной смерти.

Юрико вытащила руку из кармана.

Она поднесла гранату к самому лицу, в последний раз вглядываясь в её убогую, коричневую простоту, чувствуя, как пальцы сводит судорога от её веса. А затем — просто разжала пальцы. Без замаха. Без усилия.

Керамический шар глухо, с сухим стуком ударился о толстый корень баньяна, покатился по влажному, склизкому мху, пачкаясь в белом древесном соке, и затих в траве у её ног. Вторая граната отправилась вслед за первой.

Юрико почувствовала странную, оглушительную пустоту. Ладонь, которая только что сжимала смерть, осталась открытой, влажной от пота. На коже, прямо поперёк линий судьбы — от основания большого пальца до самого мизинца — горели две багровые, вдавленные полосы от швов керамики. Они выглядели как шрамы. Или как новые, чистые дороги, которые ей только предстояло пройти. Рука ещё помнила тяжесть, мышцы ещё помнили форму шара, но в ней больше ничего не было. Она была пуста.

Мико шагнула ближе и взяла её за эту пустую, дрожащую ладонь. Молча. Крепко. Так, как хватаются за жизнь. Пальцы Мико были тонкими, сухими и горячими, и когда их ладони соединились, Юрико замерла.

Так они и стояли — две девочки в грязной школьной форме, с чистыми, пустыми руками на своём острове, посреди чужой войны. И ни одна из них не знала, что делать дальше.

А джунгли вокруг них продолжали жить своей огромной, равнодушной жизнью: капала вода, шуршали невидимые ящерицы в листве, и где-то фоном гудела земля от взрывов.

Глава 2. Лес

Утро пришло в джунгли не светом — тяжестью летнего зноя. Оно медленно, словно густой зеленоватый сироп, просочилось сквозь многоярусные кроны баньянов и криптомерий, принеся с собой вместо прохлады, удушливое, влажное испарение земли. Воздух здесь не двигался — он стоял, плотный, пахнувший забродившей листвой, раздавленными улитками, прелой корой и тем сладковато-тревожным тленом, которым пахнет лес, перекормленный смертью. Этот свет был скорее хлорофилловым, холодным, не солнечным; казалось, листва не пропускала лучи — она заменяла их собственным тусклым сиянием. Роса конденсировалась на всём — на

папоротниках, на мокром мхе, на бледной коже и ресницах, делая мир глянцевым и ненастоящим, как сахарная глазурь на отравленном пирожном.

Мико проснулась от того, что по её щеке полз крупный чёрный муравей.

Она открыла глаза, дёрнулась, смахивая насекомое, и первое, что поняла — не разумом — затёкшим телом: левое плечо, которое всю ночь чувствовало чужой мир, теперь лежало на голой, холодной земле. Это ощущение внезапного одиночества было настолько неправильным, что Мико села сразу — рывком, без перехода от сна к яви. Сердце её колотилось от древнего, животного страха, какой бывает, когда просыпаешься в незнакомом месте и не можешь вспомнить своего имени.

На месте, где спала Юрико, остался лишь отпечаток присутствия: примятая трава, ещё хранившая едва уловимое тепло, и два-три тёмных волоска, прилипших к мокрому стеблю папоротника. Юрико ушла.

Каждая мышца Мико помнила вчерашний бег, каждая кость ныла от падений, но она встала и пошла на звук — тихий, монотонный плеск воды. Она раздвинула тяжёлые, покрытые колючими ворсинками ветви кустарника и через двадцать шагов увидела её.

Юрико сидела на корточках у небольшой воронки, оставленной снарядами, возможно, неделю назад. Воронка успела наполниться чистой, но рыжеватой от земли водой, в чьём зеркале отражалось блёклое, выжженное небо. Ручей стекал откуда-то сверху, из-под камней, и был таким тонким — не шире детской ладони, — что казалось, воды нет, есть только её ритм и прозрачное движение.

Юрико мыла руку. Не руки — только левую.

Мико остановилась за её спиной, глядя на эти движения. Юрико мыла её тщательно, сосредоточенно, с какой-то одержимостью человека, пытающегося стереть не грязь — само воспоминание о прикосновении: тёрла подушечку большого пальца подушечкой указательного, круговыми, мелкими движениями, доводя кожу до глянцевого блеска. Кожа уже покраснела от трения, мелкие хлопья отмытого эпидермиса уносились крошечными, безмолвными воронками воды.

Ветка хрустнула под ногой Мико. Юрико вздрогнула всем телом, словно от удара, и резко обернулась, пряча левую руку в складки грязной юбки-хакама. Быстро, рефлекторно. Так прячут то, что выдаёт тайну.

В этот краткий миг Юрико посмотрела на неё снизу вверх. И в этом взгляде — сквозь расширенные, испуганные зрачки и раздувающиеся ноздри — было столько беззащитной, суеверной жадности, что воздух между ними будто сгустился. Юрико смотрела на тональную линию шеи Мико, на то, как прядь коротких спутанных волос прилипла к её испачканной сажей щеке, на острую, хрупкую ключицу, видневшуюся в вырезе матроски. Для Юрико в этом утреннем,

гниющем лесу не было ничего более осязаемого и важного, чем эта девочка. Сама мысль о том, что вчера всё могло кончиться — во вспышке белого фосфора или у бидона с отравленным молоком, — заставляла её сердце сжиматься до физической боли. Эта близость не нуждалась в именах и признаниях; слово разрушило бы её, превратило бы в уязвимую конструкцию посреди войны. Они запирали это чувство внутри грудных клеток, как птиц, которые должны молчать, чтобы их не обнаружили.

— Доброе утро, — сказала Мико. Её голос был ровным. Ровнее, чем следовало.

— Доброе, — ответила Юрико и попыталась улыбнуться. Улыбка вышла короткой и кривой, как надпись, сделанная наспех на клочке бумаги.

Мико присела рядом на плоский мокрый камень, зачерпнула воду ладонью и сделала глоток. Вода пахла железом и прелыми корнями, от её холода заломило зубы, но эта нормальная, физическая боль возвращала реальность. Затем Мико протянула руку, перехватила левое запястье Юрико и мягко, но непреклонно разжала её кулак.

Поперёк ладони, прямо над линиями жизни и сердца, темнели два странных следа. Это не были ни порезы, ни воспалённые ожоги. Два тонких, идеальных коричневатых полумесяца были вдавлены в кожу так точно, словно кто-то приложил к ней крошечное, осмысленное клеймо. Они располагались друг против друга, как два глаза или как отпечатки двух чешуек неизвестного существа. Между ними кожа оставалась чистой, и обычные линии ладони шли своим чередом, словно не замечая этих знаков.

— Что это? — Мико нахмурилась, проводя подушечкой пальца по отметинам. От этого прикосновения по предплечью Юрико пробежала дрожь, которую она поспешно выдала за озноб.

Юрико сглотнула вязкую слюну. В её памяти мгновенно вспыхнуло сухое, палящее солнце из сна. Ослепительный изгиб клинка, трещина в древнем камне и почему-то, бьющийся в её ладони изумрудный, живой хвост ящерицы.

— Не знаю, — её голос дрогнул, и она настойчиво высвободила руку, пряча её обратно в пустой карман, где раньше лежала граната. — Может... ожог. От гранаты. Вчера, когда учитель раздавал их, керамика была ещё горячей.

Мико промолчала. Она приняла эту ложь так, как принимают затяжной тропический дождь — как факт, как часть изменившегося мира. Ложь была нужна Юрико как щит, и Мико просто отложила вопрос на потом, на то время, когда правда сама выйдет наружу, как выходит заноза из заживающей раны.

— Пойдём? — тихо спросила Мико, вытирая мокрые руки о подол.

— Пойдём.

Они поднялись. Ноги были ватными, исцарапанными колючим кустарником до крошечных, запёкшихся полос. Время для них превратилось в «растительное время» — оно не имело циферблата, оно росло и тянулось, как лианы, заставляя их блуждать без цели и направления, превращая в призраков на собственном острове.

Двигаться на север, к своим, было смертельно опасно. Японская императорская армия, отступающая в агонии, была безжалостна. Любого, кто ушёл из госпиталя без письменного приказа, любого, кто сбросил медицинские повязки, офицеры с пустыми глазами и трёхдневной щетиной объявляли дезертирами и шпионами. «Вы из Химэюри? Почему у вас пустые руки?» — этот произнесённый вопрос стоял перед ними как расстрельная стена. Для своих они стали предательницами, не пожелавшими умереть красиво ради Императора.

Но и идти на юг, навстречу американцам, было невыносимо. О «длинноносых демонах» в пещерах рассказывали такое, от чего кровь стыла в жилах: огромные белоглазые существа, не знающие жалости, которые сдирают кожу и скармливают пленных собакам. Страх не нуждался в фактах — он питался неизвестностью, как плесень питается темнотой. Девочки оказались зажаты между двумя безжалостными жерновами: слепой, требующей самоубийства честью своих и мифическим ужасом чужих.

Вчера они наткнулись на грунтовую дорогу, развороченную гусеницами танков. Прячась в кустах, они часами наблюдали, как по ней шли серые, одинаковые силуэты. Земля гудела от их шагов, мелкие камешки подпрыгивали, как блохи. Юрико и Мико не дышали, сжавшись в комок, пока колонна не скрылась в мареве, и только тогда бросились в противоположную сторону — не потому что знали путь, а чтобы дорога их не догнала.

Ночью они нашли углубление между корнями гигантского дерева. Корни были толщиной в человеческое тело, образуя подобие норы. Они легли туда вплотную, согревая друг друга своими худыми, дрожащими от холода и пережитого ужаса телами. Юрико всю ночь не смыкала глаз, чувствуя запах волос Мико — запах копоти, сырой земли и ускользающего детства. Эта близость была единственным, что удерживало её рассудок от падения в бездну. Если бы мир кончился в ту секунду, если бы джунгли сомкнулись над ними навсегда, Юрико знала: тепла этой руки, лежащей на её запястье, было бы достаточно.

Но утро наступило. И теперь они шли дальше.

Юрико шла первой, Мико — ровно в двух шагах за ней. Этот двухшаговый промежуток между ними жил собственной жизнью: он сужался на узких тропях и расширялся, когда бамбук расступался. В этом пространстве пульсировало всё то, о чём они молчали.

Они вышли на странную круглую поляну. Трава на ней росла неестественно ровно и коротко, словно на вытоптанном пастбище, а в самом центре лежал плоский серый камень. Он был настолько идеальной круглой формы, что не мог появиться здесь сам по себе; его словно положили намеренно, чтобы кто-то его нашёл.

Юрико остановилась, вглядываясь в серую поверхность. Камень напомнил ей что-то — нет, не напомнил, передал — какое-то незнакомое ощущение тепла и запаха полыни под пустынным солнцем. Но здесь не было полыни, только мох, трава и капли росы.

— Чего встала? — тихо спросила Мико сзади.

— Ничего, — Юрико тряхнула головой и пошла дальше.

Она не оглянулась и не увидела, что, как только они покинули поляну и зелёная чаща сомкнулась, на середину круглого камня выползла маленькая серо-коричневая ящерица с длинным, идеальным хвостом. Одиноким луч солнца, пробившийся сквозь плотный купол джунглей, упал точно на неё. Камень начал медленно вбирать в себя это тепло, и ящерица пила свет, живая и безразличная к войне, к гранатам и к уходящим девочкам.

— Нам нужна еда, — глухо произнесла Мико. — Я больше не могу. Меня тошнит от пустоты.

Голод перерос стадию обычного желания поесть. Это был глубокий, животный спазм костей и мышц; тело Юрико буквально разбирало себя изнутри, сжигая последние ресурсы ради крох тепла. Голова кружилась постоянно, мир вокруг слегка кренился, а земля казалась зыбкой, как подтаявший лёд.

— Там, за холмом, должны быть деревни, — Юрико указала направление левой рукой, не вынимая её из кармана. — Маэхира или Арааки. Там могли остаться заброшенные огороды. Мы найдём батат... хоть что-нибудь.

Слово «батат» подействовало как заклинание — во рту скопилась густая, вязкая слюна, а желудок отозвался болезненной судорогой. Они пошли по низине, стараясь держаться густых зарослей бамбука, чтобы их не заметили со стратегических высот.

Вскоре тропа вывела их к рубленой, грубой просеке. Пни вокруг успели обрасти белым ядовитым грибом, некоторые стволы были обуглены старыми пожарами. Но далеко впереди, у самого края зелёного массива, Юрико различила очертания соломенной крыши и покосившегося забора. А главное — воздух принёс запах.

Это был не пороховой, не кислый дым войны, а домашний, сухой дым очага. Дым горящих дров, несущий в себе обещание еды и тепла. От этого запаха у Юрико так сильно защемило под ложечкой, что она замерла.

Но остановилась она не из-за дыма.

Изменилась ощущение самого леса позади них. С самого рассвета у Юрико между лопатками зудело липкое чувство чужого взгляда, но теперь оно стало плотным, почти осязаемым. В воздухе, недвижимом и влажном, что-то сдвинулось. Это не был хруст упавшей ветки. Это был мягкий, аккуратный, но тяжёлый звук — так существо переносит вес своего тела на сырую, податливую почву.

Одинокий лист на нижней ветке хлебного дерева качнулся. Справа налево. Медленно, плавно. И замер. Ветра в джунглях не было.

Волоски на руках Юрико встали дыбом. Нить напряжения натянулась до предела. Лес больше не казался безразличным — кто-то шёл за ними след в след, дыша в такт их путающимся шагам, замирая тогда, когда замирали они. Кто-то прятался в этой непроницаемой стене папоротников, наблюдая за двумя уставшими девочками со спины.

Юрико медленно протянула руку назад и мёртвой хваткой вцепилась в плечо Мико, заставляя её остановиться. Пальцы левой руки в пустом кармане сжались в кулак, впиваясь ногтями в два таинственных полумесяца.

— Стой, — прошептала Юрико. Этот звук был едва громче биения её собственного сердца, стучавшего в ушах.

Мико не стала оборачиваться назад. Она инстинктивно подалась спиной к Юрико, прижимаясь к её плечу, ища защиты. Её губы дрогнули. Она прочитала всё по напрягшейся спине подруги — Мико умела читать Юрико лучше, чем та сама себя.

— Что? — едва слышно выдохнула Мико.

Юрико медленно, на долю сантиметра в секунду, повернула голову, вглядываясь в зеленоватый сумрак лиан, откуда они только что вышли. Тени там переплетались слишком правильно, образуя чужой, неподвижный силуэт.

— Кажется... — Юрико сглотнула сухой комок в пересохшем горле, не отрывая взгляда от колеблющейся тени. — Кажется, я кого-то видела.

Глава 3. Подсолнух

Тень шевельнулась.

Она шевельнулась не так, как обычно шевелятся тени: не плавно, не постепенно, не так, как ползёт отражение облака, проплывающего перед солнцем. Она двинулась рывком, одним коротким, мокрым толчком — так шевелится то, что дышит и решается наконец показаться. Папоротник — широкий, чешуйчатый, с краями, обрамлёнными почти чёрной бахромой, — качнулся, раскрылся, как зелёные пальцы, которые хотят посмотреть, но боятся

быть увиденными. В образовавшемся проёме, на фоне хлорофиллового мрака, возник силуэт.

Юрико не дышала. Она не закрыла глаза, потому что хотела встретить смерть лицом к лицу. Пальцы её левой руки в пустом кармане впились в два мистических полумесяца так сильно, что из-под ногтей вот-вот готова была брызнуть кровь. Она ждала удара: всем телом, каждым нервом, каждой волосинкой на предплечьях. Ждала ствола винтовки — чёрного, круглого, безразличного. Длинного штыка, если это японец, или широкой, похожей на хлебный нож морды «томпсона», если это американец. Она ждала чужого голоса, чужого приказа на любом из двух языков, которые теперь значили одно и то же — конец.

Но ствол не появился. Из зелёного сумрака на раскисшую почву тропы ступила крошечная, босая нога. За ней — вторая. На тропу вышло существо.

Маленькое. Вне времени.

Оно было таким перепачканным, таким неправдоподобно грязным, словно сам этот древний, гниющий лес породил его из сумерек, мха и влажных испарений. Ростом — чуть выше её пояса. В рваной хлопковой рубашечке на трёх пуговицах, которая когда-то была белой, а теперь стала цвета рыжевато-пепла, цвета всего, через что это существо проползло за последние дни. Ниже пояса он был гол. Его тонкие ножки, покрытые царапинами, с потрескавшимися подошвами, напоминали хрупкие стебли упрямо живого растения.

Грязь на его лице была не просто грязью. Она была коркой, вторым лицом, наросшим поверх первого: слой за слоем — глина, копоть, засохшие слёзы. И сквозь эту броню проглядывали только глаза. Тёмные, круглые, мокрые глаза смотрели снизу вверх. В них не было ни страха, ни слёз — ничего, что должно быть в глазах шестилетнего мальчика посреди войны. В них было чистое, абсолютное, нечеловеческое внимание, с которым смотрит только ребёнок или лесной дух: без оценки, только взгляд, только «я вижу тебя».

Юрико выдохнула. Воздух выходил из лёгких медленно, и вместе с ним выходило напряжение последних дней — ожидание пули, штыка, конца. На их место хлынуло невыносимое, бьющее через край облегчение: не убьют.

Мико среагировала первой. Забыв о слабости, она просто рухнула на колени прямо в жидкую грязь перед мальчиком. Опустилась так тихо, словно боялась, что от громкого звука этот лесной ребёнок рассыплется спорами папоротника.

— Привет, — сказала Мико. Голос её стал другим. Тёплым, мягким — так говорят с раненой птицей или вещью, которая может разлететься на куски, если дышать слишком сильно. — Привет, малыш. Мы не страшные. Нас зовут Юрико и Мико. Мы из школы... мы идём оттуда.

Мальчик не моргнул. Он рассматривал их измазанные блузки, исцарапанные ноги, мокрые волосы. Это было не детское любопытство, а скорее проверка: настоящие ли они? Живые ли? Стоит ли подходить?

Мико протянула руку. После секундного колебания маленькая, шершавая от земли ладошка легла в её ладонь. Он не взял её крепко, но и не отступил. Он просто решил стоять — рядом.

Юрико наблюдала за ними, и что-то внутри неё сжалось и расправилось одновременно. Мико, которая не опускалась ни перед кем, опустилась перед этим грязным ребёнком. И в её голосе была нежность. Но Юрико знала: нежность Мико не принадлежала кому-то конкретному. Она была её свойством, как свойством дерева является кора, а камня — мох. Эта нежность изливалась на мальчика просто потому, что Мико не могла иначе...

...Они шли втроём, ведомые единственным безошибочным компасом — запахом дыма. Он пришёл неожиданно: сухой, домашний, пахнущий дровами, а под ним — что-то сладковатое, обжигающее ноздри. Запах настоящей еды.

Через сотню шагов джунгли расступились, обнажив выжженную рану земли. Деревня была пуста. Четыре или пять крестьянских дворов. От домов остались лишь чёрные, обугленные скелеты балок, торчащие в небо, как рёбра выброшенной на берег рыбы. Земля между ними была покрыта серым, влажным пеплом. Война прошла здесь, как слепой великан, растоптав всё, но оставив стеклянную, абсолютную тишину.

Но в одном из дворов, под рухнувшей навесом балкой, чудом уцелел каменный очаг — обычный окинавский тандор. Огонь в нём умер, но под толстым слоем белёсой золы, как сказочное существо, зарывшееся в землю, всё ещё пульсировал густой, малиновый жар.

Юрико опустилась на колени. Она нашла сухую палку и принялась разгребать золу. Палка наткнулась на что-то твёрдое. Из-под серых хлопьев выкатились округлые, приплюснутые, чёрные комочки.

Батат. Целая дюжина. Кто-то положил их печься в золу, но так и не успел съесть.

От них потянулся одуряющий запах карамелизованного сахара, мёда и горячей земли. У Юрико закружилась голова от чистого, звериного желания есть. Забыв осторожность, она голыми пальцами выхватила горячий клубень из жара. Кожа на подушечках мгновенно обожглась, но она не чувствовала боли, перекидывая чёрный комочек из ладони в ладонь и обдувая его своим дыханием.

Они уселись прямо на землю вокруг очага, образовав свой собственный, тайный круг. Юрико нажала большими пальцами на обугленную корочку.

Картофелина с сухим, ломким хрустом раскололась пополам. Вверх взвился густой пар.

Под мёртвой, сгоревшей коркой скрывалась ослепительная, влажная, золотая мякоть. Она была такой яркой, что казалось, в этом корнеплоде было спрятано всё солнце, которого теперь лишился их остров. Это не было едой. Это было причастием.

Они не набросились на картофель с жадностью, хотя желудки сводило судорогой. Юрико отломала маленький кусочек — не больше ногтя, чтобы не навредить голодавшему ребёнку, — и поднесла к губам мальчика. Тот открыл рот, как птенец. Положил кусочек на язык и замер. Его глаза расширились, челюсти начали двигаться неуверенно, вспоминая, как это делается. И губы его смазались золотом.

И мальчик улыбнулся.

Это было настоящее расцветание. Лицо-маска вдруг ожило, глаза сузились, и между испачканными губами показались молочные зубы — такие неправдоподобно белые и чистые посреди пепла, словно они светились изнутри.

Юрико разломила второй батат и протянула половину Мико. Их пальцы соприкоснулись на полмгновения, и в этом было больше, чем во всех несказанных словах: «бери», «ешь», «мы вместе».

Мико откусила. Горячий, медовый сок растёкся по её подбородку. Юрико смотрела, как она жуёт, закрыв глаза. На потрескавшихся губах Мико чёрная зола смешалась с янтарным соком батата. Эти два пятнышка — золото и пепел, сладость и смерть, жизнь и война — заставили сердце Юрико защемить. В этот момент лицо Мико развернулось навстречу теплу, словно она оказалась в месте, где больше нет пещер и гранат.

Юрико смотрела и не могла есть. У неё перехватило горло от невозможного, безмолвного созерцания: она сидела посреди разрушенного мира и смотрела, как ест тот, кого она любит. И этот момент был самым честным во всей её жизни.

— Ешь, Юрико, — тихо сказала Мико, открыв глаза.

И Юрико ела. Батат обжигал рот, прилипал к нёбу, пах землёй и дымом. Это была сладость того, что выжило, когда всё вокруг горело. Золотая мякоть падала в пустой желудок, тело вздрагивало, принимая тепло, и от этой болезненной, невыносимой радости у Юрико кружилась голова.

Когда с картофелем было покончено, мальчик облизал пальцы, посмотрел на Мико и вдруг заговорил. Голос у него был тонкий, но плоский, как бумага, с которой стёрли карандашные рисунки.

— Я Хината, — сказал он просто.

— Какое хорошее имя, — Мико ласково протянула руку и вытерла золотую крошку с его подбородка. Там осталось чистое пятнышко, похожее на луну, пробившуюся сквозь облака. — Обращённый к солнцу. Подсолнух. Расскажи нам, Хината, где твоя мама?

Мальчик нахмурился, собирая рассыпанные картинки памяти.

— Мы шли по дороге. Было темно. Мама держала меня за руку крепко-крепко, — он сжал свой маленький кулачок, показывая. — А потом стало очень громко. Бабах! И огонь. Земля запрыгала. Мама упала и отпустила руку. И все побежали в траву. Я тоже побежал. Бежал, бежал... Сандалию потерял в грязи. Искал её, а потом мамы уже не было.

Он говорил об этом без слёз, как о факте погоды. К детской боли его разум ещё не подобрал слов.

— А папа? — тихо спросила Юрико.

— Папа далеко. На севере. Мама говорила — на севере. Я спал в джунглях под большим листом. Было холодно. А вчера увидел вас. Вы шли впереди, я за вами. Но подходить боялся. Вы были большие. И я думал... вы ругаться будете. Думал прогоните. Я грязный. Я штанишки потерял.

У Юрико зашипало в носу, и она отвернулась к очагу. Этот ребёнок, потерявший всё в огненной мясорубке, больше всего боялся, что старшие девочки отругают его за неопрятность.

В этот момент на щеку Юрико упала капля. За ней — вторая. Воздух стал гуще, небо опустилось, и тропический ливень хлынул отовсюду сразу. Он падал сплошной отвесной стеной, смывая гарь, прибывая к земле вонючий дым от сожжённых деревень и остужая раскалённый остров.

— Туда! — Юрико вскочила, подхватив Хинату на руки. Мальчик оказался неожиданно лёгким, словно птица, сделанная из тонких костей и перьев.

На краю двора стоял полуразрушенный сарай — бывший хлев для коз. У него обвалилась стена, но покатая соломенная крыша всё ещё держалась. Они влетели под навес в ту секунду, когда ливень превратился в ревущий водопад. Внутри пахло прелой соломой, шерстью и спасительной, обволакивающей сухостью. В углу обнаружилась куча старых циновок. Девочки сдвинули их вместе, соорудив тёплое подобие гнезда.

Стемнело мгновенно, будто кто-то просто выключил свет в мире. Но им не было страшно. Шум воды по крыше отрезал их от остальной земли, заглушил артиллерийскую канонаду с побережья и запер их в непробиваемом, уютном коконе.

Хината уснул почти сразу. Он свернулся калачиком, поджав колени к подбородку — так сворачиваются дети, привыкшие спать одни в темноте. Даже во сне на его губах оставались следы: золото и пепел.

Юрико лежала на спине, слушая воду. Джунгли вокруг меняли математику их существования.

Когда ты бежишь впереди страха, а сзади никого нет, мир — это туннель, и ты несёшься по нему, ожидая пули. Но теперь сзади спал ребёнок, а рядом была Мико. Их мир перестал быть туннелем. Три точки образовали треугольник. Три ноги — это табурет, который не упадёт. И в его центре, образовался круг. А в круге уже можно дышать.

В темноте Юрико осторожно, вслепую, протянула руку и нашла пальцы Мико. Мико не спала. Она сжала её ладонь в ответ — крепко, переплетая пальцы.

Под крышей старого сарая, посреди истекающего кровью острова, было темно и сыро. Но для Юрико это место сейчас было самым светлым на земле. Желудок больше не выл от голода, наполненный тёплой сладостью батата. Они были втроём. Они были сыты. И они были живы.

Она смотрела на Хинату — спящего, свернувшегося калачиком, с золотым пятнышком на нижней губе, и думала о том, что если бы мир кончился прямо сейчас, прямо в эту секунду, — если бы дождь залил всё, и джунгли сомкнулись, и земля раскрылась, то последним, что она чувствовала, была бы рука Мико и дыхание мальчика в темноте. И этого было бы достаточно.

Глава 4. Анатомия боли

Первое, что она почувствовала, была рука.

Не знакомая. Не та ладонь, которую она знала лучше всего на свете — тонкая, сухая, горячая, — не рука Мико. Эта рука была другой: крупной, тяжёлой, в плотной парусиновой перчатке. Она двигалась методично, профессионально, без колебаний и без жалости: вдоль рёбер, по бёдрам, по складкам грязной школьной юбки. Движения были функциональными. Рука проверяла. Рука искала скрытую угрозу — керамическую смерть, стальную сферу. Ей было всё равно, что чувствует тело под ней. У неё была задача.

Юрико распахнула глаза, готовясь закричать, но воздух застрял в горле.

Над ней, на расстоянии двух пядей, нависало лицо. И оно было чёрным. Не коричневым, не смуглым — глубоким, непроницаемым чёрным цветом, отливающим фиолетовой бронзой. Лицо было увенчано стальным шлемом в сетке, из-под которого выбивались жёсткие кудри. Белки глаз на фоне этой кожи казались невыносимо, пугающе белыми. Они смотрели на Юрико со спокойным, военным вниманием.

Юрико замерла, как бабочка на булавке. Чёрный человек перестал обыскивать карманы её хакама. Зубами он стянул перчатку за кончики пальцев, поднял обнажённый тёмный указательный палец и прижал его к своим губам.

Тише.

Этот жест, древний и универсальный, понятный до изобретения Вавилонской башни, пересёк океан между ними. Палец у губ означал «молчи», а «молчи» сейчас означало «ты ещё жива».

Солдат повернул голову к выходу из сарая и глухо произнёс на гортанном, лающем языке:

— *She's clean too.*

Юрико медленно села. Руки сами поднялись вверх — ладони раскрыты, пальцы растопырены и мелко дрожат.

В дальнем углу сарая, прижавшись друг к другу, сидели Мико и Хината. Мико обнимала мальчика, пряча его лицо у себя на груди, её глаза были пустыми от запредельного напряжения. Вокруг них замерли ещё трое в зелёных касках. Их винтовки смотрели в землю, но сами фигуры заполняли сарай удушающей тяжестью. Юрико смотрела на их лица — молодые, бледные, с каплями пота на переносицах. И сквозь шок она увидела главное: дьяволы боялись. Их плечи были напряжены, они всматривались в темноту углов так же затравленно, как и сами девочки.

Один из солдат, жуящий что-то невидимое, шагнул к остывшему очагу. Там, на куске черепицы, лежали два припрятанных с вечера батата — их утренний талисман. Солдат небрежно опустил винтовку и лезвием штык-ножа ткнул в картофелины. Обугленная корочка с треском лопнула, золотая мягкая мякоть вывалилась в серую грязь и остывшие угли. Это было быстрое, бытовое разрушение их маленькой святыни.

Хината, увидевший смерть своего единственного завтрака, не выдержал. Он не закричал, но из его огромных глаз мгновенно, разом покатились крупные, горячие слёзы. Две чистые дорожки пробились сквозь корку пыли на щеках. Он смотрел на раздавленный батат с молчаливой, абсолютной потерей.

Солдат со штыком замер. Он перевёл взгляд с испорченного корнеплода на плачущего мальчика. Лицо американца — веснушчатое, с мягким пушком над губой — вдруг дрогнуло и растянулось в невероятно широкой, нелепой, белозубой улыбке. Это была смущённая улыбка человека, который не умеет обращаться с чужими плачущими детьми.

Он повесил винтовку на плечо, опустился на одно колено и откинул клапан тяжёлого брезентового вещмешка. Юрико следила за его руками, сжимая зубы. Солдат достал небольшую продолговатую жестянку цвета хаки с

белыми буквами. *C-Ration, M-Unit*. Вставил крошечный ключ в паз на крышке и с металлическим хрустом завернул жестяную полоску.

По сараю мгновенно разнёсся густой, агрессивно-сытный запах тушёного мяса и овощей в плотном соусе. Это пахло чужой, сытой, недостижимой планетой. Рот Юрико мгновенно наполнился густой, горячей слюной.

Солдат протянул открытую банку Хинате.

— *Here, kid. Eat. Don't be afraid.*

Знакомые английские фонемы пробились сквозь пелену ужаса — в школе этот язык преподавали до того, как объявили языком врага.

— Он говорит... можно есть. Не бойся, — прохрипела Юрико. Голос был сухим и чужим.

Мико коротко кивнула. Хината принял банку маленькими грязными пальцами, вдохнул запах и начал есть. Он макал пальцы в соус, облизывал их, желеобразный бульон пачкал его подбородок, и в сарае стало слышно только его тихое, жадное, детское чавканье. Солдат с веснушками сидел на корточках и улыбался — теперь уже тепло и спокойно.

Их увели. Не грубо, но уверенно, жестами приказав идти по раскисшей тропе. Юрико шла и чувствовала себя персонажем чужого сна.

Вскоре джунгли расступились, и они оказались в расположении роты. Это был маленький, шумный муравейник из оливковых палаток, похожих на спрессованные облака, пары джипов, рычащей радиостанции, и резких запахов бензина, мокрой парусины и жжёного кофе. Меж палаток на носилках лежали раненые — от них пахло кровью и кислым потом боли. Проходившие мимо солдаты останавливались и просто смотрели на две невысоких фигуры в грязной форме Первой женской школы и мальчика, стоявшего с ними. Не враждебно. Не жалостливо. Просто смотрели, как смотрят на вещи, которые не поместились ни в одну категорию: не солдаты, не пленные, не беженцы, не дети, — что-то, чему нет названия, чему нет места в уставе, чему нет инструкции.

Их посадили на деревянные ящики из-под патронов. К ним подошёл молодой сержант без винтовки. У него были высокие, рубленые скулы и тёмные, чуть раскосые глаза.

— Спокойно, всё хорошо, — сказал он на чистом, мягком японском языке, с лёгким книжным акцентом. — Меня зовут Рен Кимура. Я переводчик армии Соединённых Штатов. Бояться нечего. Мой отец с Гавайев, японец... ну, а мать — навахо. Это индейское племя. В общем, длинная история.

Рен посмотрел на Хинату, который всё ещё сжимал пустую жестянку. Переводчик достал из нагрудного кармана плоский прямоугольник в

фиолетовой обёртке, развернул фольгу и протянул мальчику. Шоколад. Хината схватил его и с жадностью зверька впился зубами, пачкая щеки.

Но тут Рен Кимура протянул руку и мягко, но непреклонно забрал плитку изо рта ребёнка. Хината замер с открытым ртом. Юрико напряглась, готовая вскочить.

Переводчик не обратил на это внимания. Он аккуратно, со щелчком разломил шоколад по перфорированным линиям на равные части. И протянул один кусочек Юрико, а второй — Мико.

— Не забывайте про себя, — тихо сказал он. — Вы тоже ешьте.

Юрико положила кусочек на язык. В воздухе густо потянуло какао — запахом мира «до», запахом нормальности. Шоколад таял, заполняя рот горьковатой, обволакивающей сладостью, и от этого тепла Юрико на мгновение показалось, что мир перестал быть разбитым на демонов и людей. Сладость была общей.

Рен достал маленький потёртый блокнот.

— Кто вы? Откуда?

Юрико проглотила шоколад. Ложь сейчас была бы карточным домиком.

— Мы... ученицы Первой школы. Были прикомандированы к госпиталю в пещере Ихамигама. Как медсёстры. Когда поступил приказ умереть, мы убежали. А мальчика нашли в лесу. Он потерял маму при обстреле.

Рен Кимура записывал её слова. Юрико видела его смуглую руку, выводящую угловатые, чужие знаки на бумаге. От этого её история переставала быть ночным кошмаром, превращаясь в документ. Свидетельство.

Переводчик закрыл блокнот, повернулся к подошедшему высокому офицеру с сигарой и быстро заговорил по-английски. Тот нахмурился, глядя на измученных девочек, затем указал на Хинату:

— *What about the kid?*

Юрико рванулась вперёд, почти выкрикнув переводчику в лицо:

— Он останется с нами! Мы его не отдадим. Мы за ним присмотрим!

Рен Кимура усмехнулся одними уголками глаз и перевёл. Высокий офицер пожал плечами, принимая простое логистическое решение:

— *Fine. Tell them to get on the truck with our wounded. They were nurses, right? They can keep an eye on them on the way to the sorting camp. I need my medic here.*

Рен повернулся к девочкам:

— Офицер решил, что вас отправят в сортировочный лагерь на грузовике. Вы были медсёстрами, поэтому лейтенант сказал: «Они знают, что делать с ранеными». Поедете вместе с нашими. Заодно присмотрите.

Санитарный грузовик был закрыт плотным зелёным брезентом, сквозь вентиляционные щели лился свет — неровными полосами, похожими на струи дождя. Внутри пахло йодом, карболкой, запёкшейся кровью и тяжёлым, кислым человеческим потом.

Юрико залезла первой. Хината шёл за Мико, крепко держась за ткань её хакама.

Брезентовый полог сзади задёрнулся, окончательно отрезав мокрый тропический мир.

Кузов мерно раскачивался на разбитой колее. Вдоль бортов на носилках в два ряда лежали четверо. Четверо в зелёной форме. Когда глаза Юрико привыкли к полумраку, фигуры демонов исчезли. На носилках лежали крупные, очень молодые, испуганные парни.

У одного из них повязка на голове закрывала правый глаз, и сквозь марлю проступало густое, ржаво-красное пятно — точно такое же пятно расцветало на рубашках японских солдат в пещерах. Другой раненый, с загипсованной рукой, лежащей под нелепым углом, дышал хрипло, со свистом, побелевшими пальцами сжимая край брезента. Третий неподвижно смотрел в потолок кузова, и в его зрачках отражалась та самая конечная, бездонная усталость, которая не имеет национальности, языка или формы лица.

Раненый с повязкой на глазу повернул голову. Он долго, непонимающе смотрел на три фигуры в грязной школьной форме. Грузовик сильно подпрыгнул на ухабе, американец поморщился от вспышки боли, поймал взгляд Юрико и... криво, слабо улыбнулся ей. Словно извиняясь за то, что лежит здесь и пугает их.

Сосед его, парень с гипсом, медленно поднял здоровую руку и слегка помахал ладонью.

Юрико смотрела на эту извиняющуюся улыбку сквозь гул мотора. В её ушах всё ещё звучали крики из пещеры и приказы учителя, но перед глазами была только чужая испачканная щека и дрожащие губы. Она не улыбнулась в ответ — для этого внутри ещё ничего не ожило. Но она шагнула вперёд, наклонилась над носилками и аккуратно поправила серое шерстяное одеяло, сползшее с плеча раненого американца. Тот тихо выдохнул и закрыл глаза.

Кузов раскачивался, колеса стучали по грязи, и этот ритм стал похож на раскачивание колыбели, увозящей их в полную неизвестность.

Юрико сидела на полу, Хината спал у неё на коленях, уткнувшись носом в ткань. Мико пристроилась рядом — плечо к плечу, — и её тепло возвращало Юрико ощущение реальности. Они ехали.

Втроём.

Глава 5. Струна

Сон пришёл среди белого дня, посреди удушливого полуденного оцепенения лагерного муравейника, сквозь гудение мух, скрип тачек и лязг жестяных вёдер. Это было не засыпанием — падением: в одно мгновение над головой колыхалось белое полотнище американской палатки, а в следующее — Юрико уже ослепило совсем другое солнце. Древнее, злое, палящее солнце, которое помнило мир молодым.

В этом пространстве она была двоилась. Юрико-школьница лежала на циновке в лагере Симабуку, чувствуя, как полумесяцы шрамов на её ладонях пульсируют в такт сердцу. Но одновременно она была ей — повзрослевшей девочкой из чужого мира, чьё тело стало тяжелее, сильнее, угловатее. Юрико чувствовала, как горячий, сухой ветер обжигает её кожу, а грубые кожаные ремешки сандалий до крови натирают ступни.

Они стояли на плоской крыше, возвышающейся над огромным городом из слепяще-белого камня. Город ликовал. Воздух был пропитан запахами жареного мяса, благовоний и свежей, ещё не успевшей остыть крови. Улицы, зажатые между каменными стенами, бурлили. Тысячи людей кричали, плакали и обнимались в каком-то страшном, исступлённом восторге.

Внизу, на круглой площади у высохшего каменного бассейна, лежали мертвецы. Их было немного — пять или семь тел. Юрико не знала, кто они. На них была странная одежда из толстой кожи с железными пластинами, а на головах — круглые шлемы с алыми щётками на макушках. Они напоминали воинов с древних потемневших картинок, которые Юрико видела в школе: похожие на самураев, но другие. Чужие. Панцири их были смяты, мечи сломаны, а кровь лениво текла по белым плитам.

К ней обернулся отец. Его лицо, высушенное пустынными ветрами, сияло жуткой, торжествующей радостью. Руки, помнящие тяжесть оружия, он воздел к небу.

— Мы очистились! — закричал он, и рёв толпы подхватил его голос. — Скверна смыта с камней. Мы снова чистые! И теперь придёт Тот-кто-обещан. Скоро придёт Мессия!

Он шагнул к ней и разжал ладонь. На мозолистой коже лежали плоские серебряные монеты. На металле была выбита чаша и колючие, угловатые знаки чужого, малопонятного алфавита, вырезанные с яростью и гордостью.

— Смотри, — отец трясся от переполнявших его слов. — Здесь выбито: «Херут Цион». Мы свободны!

Юрико смотрела на его сияющее лицо, и в её груди — чужой и одновременно собственной — зашевелилась тихая, глубокая, необъяснимая тревога, которая не имела слов, но имела — вес: тяжёлый, давящий, как камень. А в этом ликующем крике отца, рёве толпы, ей послышался другой, тихий голос. Тот самый, из известняковой пещеры Ихамигама, когда учитель раздавал им гранаты и говорил про дочерей Императора.

И она подумала — она, не Юрико, а та другая, та, чьё имя было Тамар, — она подумала: очищались ли те, кого я видела мёртвыми? Они тоже были чистыми, когда шли сюда. Они тоже верили, что их бог прав. Их тоже любил их отец.

Те, на площади, в железных доспехах жуков — разве они не верили, что их бог прав? Разве их не любили их отцы?

Но она промолчала. Отец дёрнулся, серебряная монета соскользнула с его пальцев и со звоном покатила по каменной ступени.

Дзынь.

Юрико открыла глаза.

Звон продолжался, резонируя в горячем воздухе лагеря.

— Держи крепче, Хината, — негромко сказала Мико. — Если гриф будет шататься, медная проволока просто перетрётся о край.

Белый каменный город исчез. Вместо него до самого горизонта простиралось брезентовое море Симабуку — лагеря для гражданских лиц, куда американские грузовики ежедневно свозили выживших со всего юга острова. Лагерь жил по законам оборванного ритма. Здесь пахло солёной рыбой, хлорной известью, сухим молоком и грязью. Время застряло где-то в конце июня 1945 года.

Дзынь.

Мико снова ударила большим пальцем по натянутой струне. Струной служил кусок медной проволоки, вытащенной из разбитого полевого телефона; грифом — обломок доски от снарядного ящика, а резонатором — пустая оливковая банка из-под американской тушёнки с аккуратными белыми буквами.

Это был канкэра-сансин. Музыкальный инструмент — инструмент отчаяния, окинавская лютня, рождённая из мусора, жести и войны. Звук его был дребезжащим, тонким, немного гнусавым, но это был живой звук. И это была музыка. Настоящая музыка.

Потому что этот звук — звук пустой консервной банки с тремя кусками медной проволоки — был звуком мира. Мира, который существовал до пещеры, до гранат, до войны, — мира, в котором был праздник, и сансин, и ночь, и

сверчки, и звёзды, — и этот мир не кончился. Он прятался. В банке. В проволоке. В пальцах шестилетнего мальчика.

К вечеру было сделано шесть сансинов.

Мико делала их быстрее и точнее, чем Юрико: её руки были привычнее к работе — к бинтам, к ножницам, к тому, чтобы делать что-то маленькое и точное посреди хаоса, — и банки под её пальцами превращались в инструменты с какой-то домашней, привычной ловкостью, как превращаются вещи в руках того, кто умеет создавать порядок из беспорядка.

Дети приходили на звук.

Вечером, вокруг Мико, прямо в лагерной пыли, сидели уже около двадцати детей. Грязные, худые, в оборванной одежде, некоторые с серыми армейскими бинтами на головах, они смотрели на консервные банки так, словно в них пряталось солнце. Шестилетний Хината сидел ближе всех, ревниво вцепившись свободной рукой в складки хакама Мико.

А в лагере говорили разное. Новости перетекали из палатки в палатку быстрее, чем двигались американские патрули. Вчера джипы привезли полковника Яхару — единственного выжившего офицера из высшего штаба. Сами генералы Усидзима и Тё совершили ритуальное харакири в пещерах Мабуни. Японский гарнизон сдался. Официально войны на острове больше не было, хотя где-то в горах и джунглях ещё гремели выстрелы — там прятались те, кто отказывался верить в смерть Империи.

Прежний мир рухнул, но в десять утра американцы всё равно выдавали рис по карточкам, а раненые на носилках продолжали стонать. Жизнь приспособлялась к пустоте.

Женщина с красным крестом на рукаве пришла к ним через несколько дней.

Она была не старой и не молодой: лет сорока, может быть, сорока пяти, с лицом, высушенным солнцем и слезами до пергаментной прозрачности, — и глаза её были тёмными, глубокими, с морщинками на внешних уголках, и эти морщинки были не от смеха, а от того, что она слишком часто щурилась, глядя на солнце, или на огонь, или на пустоту.

Она стояла перед Юрико и Мико и смотрела — оценивающе, спокойно, как смотрят на вещь, которую хотят использовать.

— Вы из Химэюри? — спросила она уставшим голосом.

— Да, — ответила Мико.

— Вы были медсёстрами?

— Да.

— У вас есть опыт обращения с детьми?

Они промолчали.

— Американцы решили занять вас делом, — продолжила она. — Организуйте детей. Сделайте что-то вроде школы, чтобы они не путались под колёсами машин.

Мико посмотрела на Юрико. Юрико посмотрела на Мико. В этом взгляде было — всё: и «мы не знаем», и «мы — сами дети», и «но что-то нужно делать», и «Хината — жив», и «мы справимся», — и всё это было сказано без слов, потому что между ними не нужны были слова.

— Мы... — начала Мико. И остановилась. Потому что Хината, стоявший рядом и державшийся за край её хакама, поднял голову и посмотрел на незнакомую женщину — огромными, круглыми, чёрными глазами, — и в этом взгляде было не боязнь — защита: он защищал Мико. Маленький, молчаливый — он защищал свою Мико от чужой женщины, которая задаёт слишком много вопросов.

— Мы попробуем, — сказала Юрико.

И они сделали. Первую школу под открытым небом на пыльном пятачке между палатками.

Сначала они ели.

Не лагерную кашу, не рис, не рыбные консервы, — а то, что Юрико и Мико собирали по вечерам: жареные зёрна арахиса, выменянные на лагерной кухне, сушёные бананы, кусочки сахарного тростника, — и они раздавали это детям, и дети ели, и от еды их глаза менялись: не становились радостными, не становились счастливыми, но останавливались. Переставали скакать, метаться, искать опасность. Останавливались и смотрели на то, что перед ними.

Потом канкэра-сансин.

Юрико показывала: как натянуть струну, как прижать, как тронуть. И дети — один за другим, неуверенно, тихо трогали. И улыбались. Не так, как улыбается Хината: широко, до зубов, — а иначе: углами рта, одними углами, — как улыбаются те, кто забыл, как это делается, и теперь вспоминает.

Потом английский.

Одно слово. Каждый день — по одному слову. Юрико писала его на банке (буквы были кривыми, торчащими, как палки в пожаре), и дети повторяли — хором, тихо, неуверенно.

— Повторяем за мной, — говорила она. — Хэлло.

— Ха-ро-о... — нестройно, как испуганные воробьи, отзывались дети.

— Сэнк ю.

— Сэн-кью...

— Ай эм хангри.

— Ай эм хан-гу-ри, — повторил хором лагерный класс.

И в этой сцене было что-то нелепое и страшное. Дети Окинавы, чьи дома сгорели, сидели в пыли под палящим солнцем и хором, нараспев, словно молитву, повторяли фразу «Я голоден» на языке людей, которые ещё вчера были для них дьяволами. Но в этом заклинании заключалась великая магия выживания: ребёнок, который мог сказать солдату у грузовика «Ай эм хангри», получал галету или кусок шоколада. Девочки учили их жить в новом мире, где больше не было Императора, но были джипы, консервы и хлеб.

После английского наступала очередь букв. Мико рисовала их кусочком угля на обратной стороне снарядных ящиков. А, И, У, Э, О... Дети повторяли звуки, и от этого простого «А» мир вокруг словно становился чуть прочнее. Ведь мир — это когда ребёнок учит азбуку, и от этого ничего не взрывается.

Потом была арифметика. два пальца и три пальца — это пять пальцев. Пять консервных банок, сложенных в ряд. Пять бананов. Пять шагов до учителя. Пять — это число, и число — безопасно, потому что число не стреляет.

А под конец Юрико доставала кусок серого упаковочного картона. Огрызком карандаша она рисовала на нем длинную, изогнутую линию, похожую на стебель бамбука или ползущего червяка.

— Это наш остров, — тихо говорила она, и дети затихали. — Вот здесь, на самом юге — мы. Это Симабуку. А вот здесь... — её палец замирал над пустой серой поверхностью картона.

Там, за холмами, всего в нескольких часах пути, лежали их родные деревни. Мавасиасато. Наха. Сюри.

Ни Юрико, ни Мико ни разу с момента выхода из пещеры не произнесли вслух слов «мама», «папа» или «дом». Эти слова были слишком опасными. Пока они оставались неназванными, их близкие пребывали в хрупком состоянии лагерной надежды — они не были ни мёртвыми, ни живыми. Они просто ждали, когда кто-то вернётся на пепелище и проверит. Что осталось от их домов? Обгоревшие балки? Черная зола?

Дети смотрели на серый картон и молчали. В этом молчании не было непонимания — в нем была общая, взрослая, непереносимая тоска по местам, которые теперь превратились в карандашные контуры.

И в этот момент, чтобы заглушить эту тишину, Мико снова ударила по медным струнам канкэра-сансина, задавая быстрый, синкопированный островной ритм. Дети подхватили его, затопали грязными ножками, и

дребезжащий звук пустых банок заполнил палатку, возвращая им право на игру. Право на то, чтобы быть детьми.

Вечером, когда воспалённое красное солнце опустилось за колючую проволоку, лагерь затих. Зажглись редкие огни патрулей.

Юрико сидела на краю циновки. Хината уже спал у неё на коленях, тяжело дыша во сне и крепко сжимая её палец своими маленькими ручками. Мико сидела рядом, штопая разорванный подол школьного хакама нитью, выдернутой из стропы американского парашюта.

— Знаешь, — тихо сказала Мико, не поднимая глаз от работы. — Струна на сансине завтра лопнет. Она совсем перетёрлась о край жести. Нужно будет завтра попросить у мистера Кимуры новую проволоку.

Юрико поднялась с циновки и подошла к ней. Та подняла на неё глаза и улыбнулась — мимолётно, устало, и немного грустно. У Юрико сладко и больно потянуло в груди. Ей невыносимо хотелось сесть рядом, коснуться плеча Мико, забрать её у этих детей, уйти вдвоём туда, где их не найдут. Но Хината был везде.

Мальчик стал их общей тенью. Он спал между ними, утыкаясь носом в бок Мико, ел из их котелка, ходил за ними шаг в шаг. По ночам Юрико до боли сжимала кулаки в темноте палатки, слушая его мирное сопение. Он забрал у неё Мико. Забрал возможность поговорить, прижаться, просто побыть наедине после всего ужаса джунглей. Разделив их тишину на троих. Но злиться на него было невозможно. Он защищал их так, как умел — не отпуская ни на секунду.

И всё же, когда она говорила о проволоке, Юрико слышала другое: завтра будет день. Мы проснёмся, нам нужна будет струна, и мы будем играть.

Это было её обещание жизни...

Юрико ничего не ответила. Она просто опустила свободную левую ладонь на тёплую землю между ними. Мико, не прекращая шить, мимолётно, едва весомо, накрыла её пальцы своей рукой. Касание длилось всего секунду, но в этой секундной близости, посреди брезентового города и чужой земли, было больше тепла, чем во всей Империи.

Позже, когда Мико легла и укрыла Хинату краем одеяла, Юрико долго смотрела в темноту потолка.

Маленькие шрамы-полумесяцы на её ладони мягко, едва заметно ныли. Она знала, что ночью Тамар снова придёт. Она увидит древнюю девушку, стоящую на каменной стене, смотрящую на костры чужих армий в долине. Юрико не понимала, почему их судьбы переплелись сквозь тысячи лет, но чувствовала: та, другая девочка на своей стене, так же, как и она сама, смотрит в темноту и ждёт рассвета.

Глава 6. Стена бумажных птиц

К концу второй недели лагерь Симабуку обрёл свою устойчивую, пугающую географию. В центре, где когда-то была размытая дождями бурая окинавская глина, теперь белела раздаточная площадь — здесь всегда пахло хлорной известью, ржавым железом и сладким порошковым молоком. От площади правильными лучами расходились «улицы», образованные бесконечными рядами зелёных брезентовых палаток.

У каждого сектора был свой ритуал, своя иерархия и свой звук. У медицинского тента пахло йодом, гангреной и смертью; там на носилках лежали те, чьё выживание американские врачи измеряли часами. В северной части лагеря, где обосновались рыбаки и старики из разрушенной деревни Итоман, по вечерам монотонно, как прибой, бубнили буддийские поминальные молитвы. А здесь, на южной окраине, между полевой кухней и складом инженерных запчастей, звенел канкэра-сансин Мико, и сорок сиротских голосов хором выкрикивали чужие, угловатые слова.

Утро лагеря начиналось в шесть с тягучей очереди к водопроводной колонке. Вода шла солоноватая, тёплая, но женщины и дети стояли за ней часами, бережно держа алюминиевые вёдра. В семь — раздача серой клейкой каши. В восемь — проверка, когда американские патрульные обходили ряды, считая головы и сверяя списки, словно пересчитывали уцелевший скот. А в девять начинались занятия.

Этот хрупкий, выстроенный из жестяных консервных банок и английских фраз мирок был прерван новым звуком.

Тук. Тук-тук. Тук.

Не тот стук, к которому привыкли уши Симабуку — не хлопанье штормового брезента, не лязг баков, — а частый, сухой, деревянный. Молоток. Настоящий железный молоток с деревянной рукояткой. Этот звук был таким домашним, таким мирным и оттого невозможным посреди лагеря, что дети на циновках разом замолчали и повернули головы — как стая птиц — в сторону площади.

Там четверо американских солдат в зелёных рубашках с закатанными рукавами вкапывали в землю тяжёлые деревянные столбы. К столбам они методично, с весёлым переключением, прибавляли широкие, гладкие, свежеспиленные доски. Щиты. Десять. Двадцать. Тридцать... Белые деревянные стены, пахнущие свежим деревом и влажным лесом. Они выстроились длинным ровным рядом вдоль всей площади, и от их чистой, нетронутой белизны веяло чем-то пугающе новым. В лагерном воздухе появилась возможность.

Кимура сидел на перевёрнутом деревянном ящике из-под патронов, положив блокнот на колено, и смотрел. Не на солдат. Не на щиты. На них.

Для Рена эта война давно превратилась в сюрреалистическое погружение в ад чужого, разорванного сознания. Он был нисей — *хафу*, *полукровка*, из Сакраменто — человеком, застрявшим между. В Америке мальчишки обзывали его «япошкой», а в лагере военнопленных японские офицеры плевали ему под ноги, считая предателем крови. Его мать дома всегда говорила на языке, которого отец стеснялся, и молилась в подушку. Из этого вечного одиночества Рен научился главному — смотреть и замечать то, что пропускали другие.

Каждый день через его переводы проходили тысячи трагедий, но эти две девочки из отряда «Химэюри» заставили его сердце сжаться иначе.

Мико пугала его. В ней была сталь — та самая абсолютная, непреклонная выправка, о которой трубили имперские газеты, но направленная не на красивую смерть, а на яростное, упрямое выживание. Она двигалась ровно, её спина была бастионом, защищающим её маленькую школу от всего мира. Она была крепостью без единой видимой трещины.

А Юрико... Юрико была другой. Рен ловил себя на том, что его взгляд неотрывно следует за ней, как только штабной джип въезжает в южный сектор. В Юрико не было этой деловитой брони. Она двигалась неуверенно, суетливо, словно боялась занимать собой пространство, словно постоянно пыталась стать незаметной, уберечь какую-то внутреннюю, звенящую хрупкость. Тёмные спутанные волосы, тонкие запястья, бледная ключица, выступающая из-под вороха застиранной школьной формы... Она казалась Рену стеклянным колокольчиком фурин, который чудом уцелел в эпицентре тайфуна. В её беззащитности была красота открытой ладони — честная, раненая, не умеющая прятать боль, — и сильная. И ему, до боли, до стиснутых зубов, захотелось подойти к ней. Не потому что она была красивой — он видел красивых женщин в Сакраменто, в Сан-Франциско, в госпиталях. И не как сотруднику, младшему офицеру американской армии, а просто — подойти, откинуть упавшую на лицо прядь волос и сделать что-то, что заставило бы её тонкие губы дрогнуть в улыбке.

Рен вытащил из кармана длинную сухую травинку и принялся машинально вязать из неё сложный индейский узел, которому в детстве его научила мать. Это помогало унять дрожь в пальцах.

Он поднялся, подошёл к девочкам и протянул Мико катушку от полевого кабеля, на которую было намотано несколько метров отличной медной проволоки:

— Вот. Для ваших инструментов.

Затем Рен повернулся к Юрико. Расстегнул нагрудный карман рубашки, достал блокнот, аккуратно вырвал несколько чистых, ослепительно-белых листов и протянул ей вместе с карандашом.

— Что это, господин Кимура? — тихо спросила Юрико, глядя на бумагу с непонятным страхом.

— Это доски объявлений, — Рен указал на деревянные щиты, где солдаты уже заканчивали прибивать подпорки. — Командование разрешило ставить их во всех секторах. Вы можете написать свои имена. И имена тех, кого вы ищете. Если кто-то из ваших близких выжил в других лагерях — они увидят. Это... это как бумажные кораблики, Юрико-сан. Или как птицы. Вы выпускаете их в океан и не знаете, долетят ли. Но не выпускать нельзя.

Написать имя. Для Юрико это был самый страшный момент с того дня, как она выбросила гранату под корни баньяна.

Пока имена её матери, брата Сомы и отца оставались произнесёнными, они находились в состоянии запутанной, благодатной неопределённости. Они жили в её памяти целыми и невредимыми. Написать их на доске означало запустить безжалостный механизм реальности. Означало признать: они потеряны, мир разрушен, и, возможно, проверять пепелище будет уже некому. Написать — значит дать миру возможность разбить тебя окончательно.

Мико была бледной, как лагерная известь. Рука её дрожала, но она взяла карандаш и быстро, чётким, почти учительским почерком, учитывая каждый штрих, вывела на клочке бумаги:

«Нисида Мико. Первая женская школа. Жива. Ищу семью».

Юрико сглотнула сухой ком в горле. Карандаш казался тяжёлым, как орудийный затвор. Пальцы не слушались, грязь на запястье смешивалась со свежим потом. Она прижала лист к гладкой сосновой доске щита и написала:

«Накаяма Юрико. Первая женская школа. Жива. Ищу мать и брата Сому. Отец — не знаю».

«Отец — не знаю». Два слова, под которыми лежала бездна. Не «погиб», не «пропал», а именно это повисшее между небом и землёй «не знаю», которое было хуже любой определённости.

Они были далеко не первыми. Белые щиты уже пестрели клочками бумаги, обрывками американского картона, лоскутами от нателных рубашек. На них углём, карандашом или выжатым соком ягод были выведены имена. «Высокая женщина с родинкой на щеке», «Мальчик пяти лет, без левой руки», «Ищи нас в секторе Б». Вся эта огромная стена шелестела на тёплом ветру, словно гигантское живое существо, сотканное из надежды и ужаса. Десятки, сотни, бумажных птиц, приколотых гвоздями к деревянному плоту посреди равнодушного океана. И каждое описание было портретом: маленьким,

неровным, написанным любовью на куске дерева, — и каждый портрет кричал: ты жив? ты здесь? отзовись.

Мико отошла чуть назад. Юрико стояла, не в силах оторвать взгляд от своей записки, и вдруг почувствовала, как по щекам беззвучно, горячо потекли слезы. Она не всхлипывала — просто дорожки чистой воды прорезали лагерную пыль на её лице. Ей было невыносимо стыдно за свою слабость перед Реном, перед Мико, перед спящим лагерем.

Рен Кимура сделал шаг к ней. Его голос звучал ровно, профессионально — как голос переводчика, но в глубине его вибрировало что-то совсем иное:

— Не переживайте, Юрико-сан. Война скоро закончится. Кордоны снимут, и вы сможете вернуться домой.

Он запнулся, всматриваясь в её мокрые глаза, в пульсирующую венку на виске, и добавил тихо, по-человечески:

— Если дом ещё есть.

И замолчал.

— Дома нет, — Юрико наконец вытерла щёку тыльной стороной ладони. — Наша деревня Мавасиасато... она сгорела. Ничего не осталось.

— Я знаю, — мягко ответил Рен, отводя взгляд, чтобы не выдать себя.

— Вы найдёте их. Или они найдут вас. А если нет... Пусть это будет другой дом. Тот, который вы постройте сами.

Он резко развернулся и пошёл к штабному джипу — высокий, в чужой форме, но больше не страшный.

Мико подошла к Хинате. Мальчик стоял рядом, босой, в своей неизменной рубашке на трёх пуговицах, и заворожённо смотрел на шелестящие записки. Он ещё не умел толком читать, но его детское, чуткое сердце понимало всё.

— Хината, — Мико мягко присела перед ним на корточки. — Хочешь, мы тоже напишем твоё имя? Имя твоей мамы?

Мальчик долго смотрел на колышущуюся бумажную стену. Его губы дрогнули, он крепко покусал нижнюю губу, а потом медленно покачал головой.

— Нет, — сказал он совсем тихо.

— Почему, Хината?

— Потому что... если мы напишем, а мама не придёт... — он сглотнул, пряча глаза, — тогда будет так, как будто я её совсем потерял. Насовсем. А пока здесь не написано — я её не терял. Она просто далеко. В джунглях. Она придёт.

Мико замолчала. Юрико прижала ладонь к губам. Бумажные птицы на стене продолжали шуршать под порывами ветра, словно дышали.

Юрико обернулась, чтобы позвать Хинату обратно к циновкам, но её взгляд наткнулся на нечто тяжёлое.

Метрах в десяти, у больших лагерных котлов с водой, стояла группа женщин из северных секторов. Они не двигались. Их лица, иссушенные солнцем и горем, были серыми, а взгляды — неподвижными и холодными. Женщины шептались, прикрывая рты ладонями, и в этих взглядах не было ни жалости, ни благодарности за то, что девочки учат сирот.

Там было другое. Хлёсткое, липкое презрение.

Юрико физически почувствовала этот взгляд спиной — точно так же, как чувствовал преследование чужого зверя в джунглях Ихамигама. Она почти слышала их змеиный шёпот: «Химэюри... Чистые дочери Императора должны были остаться в пещерах. Все порядочные ученицы подорвали себя гранатами или сбросились со скал. А эти выжили. Сбежали. И теперь улыбаются длинноносым демонам, берут у них чистую бумагу, едят их шоколад. Предательницы».

Юрико повела плечами, словно от внезапного сквозняка. Хината, мгновенно уловив её движение, бросил своё пайковое печенье, подбежал и крепко, изо всех сил обхватил её ноги своими худыми ручонками. Он сердито, исподлобья зыркнул на шепчущихся у котлов женщин, закрывая собой свою Юрико.

Юрико положила ладонь на его жёсткий вихор. Мико тоже видела эти взгляды, но её лицо оставалось безупречной, бесстрастной маской. Она выпрямила спину ещё сильнее и ровным шагом пошла к палатке.

Вечером воспалённое, багровое солнце опустилось за ряды колючей проволоки. Лагерь погрузился в зыбкие сумерки.

Юрико сидела на краю циновки. Хината уже спал, по привычке уткнувшись носом в её хакама и крепко, до белизны в суставах, сжимая её указательный палец своей маленькой ладошкой. Мико сидела рядом, плечом к плечу. В темноте её силуэт казался вырезанным из чёрного дерева. Она, как всегда, штопала разорванный подол юбки ниткой, вытянутой из стропы американского парашюта.

— Я написала записку, — прошептала Мико, не поворачивая головы. — И мне... мне очень страшно, Юрико.

Юрико промолчала. Против такого страха слов не существовало. Это был их общий страх — один на двоих, одинаковой температуры и глубины.

Вместо ответа она положила свою свободную левую руку на тёплую, пахнущую пылью землю перед ними. Мико не подняла глаз, её пальцы продолжали мерно двигать иглу, но через мгновение её ладонь — тёплая, с жёсткими мозолями от стирки — мимолётно, невесомо накрыла пальцы Юрико.

Всего на секунду. И её рука перестала дрожать.

Далеко на площади ветер трепал тысячи приколотых листов. Белые щиты стояли в темноте, как паруса кораблей, застрявших в гавани на краю света. Бумажные птицы шуршали, переговаривались обо всех, кто погиб, и обо всех, кто уцелел, и от этого шуршания лагерная ночь на одно короткое мгновение стала чуть тише.

Глава 7. Новая кожа

К концу июля лагерь Симабукку научился дышать.

Не так, как дышат здоровые люди — ровно, глубоко, не замечая собственного дыхания, — а так, как дышит тяжело раненое, но выжившее существо: с хрипами, долгими паузами, подёргиваниями брезентовых крыш, но живое. Июль перевалил за середину, и лагерь перестал быть временным пристанищем, превратившись в огромный, пыльный, живущий по своим суровым законам город. Жара стояла такая плотная, что воздух над палатками дрожал, искажая очертания водонапорных вышек.

Но в этой удушливой пыли проступал распорядок. Рис выдавали вовремя. Вода текла из колонок — солоноватая, с привкусом ржавчины и извести, но текла. Американские инженеры починили санитарные траншеи. Дети уже не просто кричали чужие слова — они превратились в послушный маленький отряд, подчиняющуюся двум девочкам. И когда они поднимали руки, выкрикивая английские фразы, в брезентовом тенте школы становилось как будто чище.

Дети кричали «Гуд морниг! Ай эм хангри» — уже не хором, а поодиночке, поднимая руки, как на уроке арифметики, — и от этого крика, от этого смешного, нелепого, детского «я голоден» на чужом языке, — в палатке становилось теплее. Не от температуры. От ритма. От того, что мир обрёл распорядок, и распорядок был — не военным, не лагерным, а школьным: звонок (удар палки по дну консервной банки), урок (буквы, цифры, сансин), перемена (арахис и банановые шкурки), снова урок.

Так мир обретал новый ритм: жизнь приспосабливалась к пустоте, как вода приспосабливается к форме сосуда.

Их собственная одежда к этому времени превратилась в прозрачную концепцию прошлого. Тёмно-бордовые хакама Мико стали лохмотьями, которые держались вместе лишь благодаря её упрямству и парашютным ниткам. Белая матроска Юрико пропиталась въедливой бурой окинавской пылью так глубоко,

что казалась сшитой из серой мешковины. Эта школьная форма больше не защищала — она истончилась, превратившись в памятник миру, которого больше не существовало.

Занятия только закончились. Солнце стояло так низко, что тени палаток накрыли всю южную окраину лагеря. Хината сидел на циновке, сосредоточенно перебирая пустые оружейные гильзы, служившие детям счётами, когда к их пятачку, взметнув белое облако пыли, подкатил армейский «Виллис». Двигатель фыркнул и заглох.

Из машины вышла женщина.

Юрико сразу узнала её — это была та самая женщина с повязкой Красного Креста, которая приходила к ним в самом начале с холодными, оценивающими вопросами. Но теперь креста на ней не было. Она была одета в строгое, тёмно-синее платье из плотной хлопковой ткани с высоким воротом. В нём не было ничего женственного — ни вытачек, ни складок, ни воланов; оно напоминало скорее спецодежду или глухой мундир без пуговиц, скроенный так, чтобы не мешать движениям. На ткани не проступало ни нашивок, ни знаков отличия, ни звёзд. И в этом отсутствии символов, в этой суровой чистоте ткани, было больше весомости, чем в любой военной форме.

Двое американских солдат быстро выгрузили из кузова джипа четыре огромных, туго стянутых бечёвкой холщовых тюка, бросили их прямо в пыль и отошли в сторону.

Женщина подошла к Мико. Она стояла ровно, заложив руки за спину.

— Здравствуйте, — её голос был низким, деловым, со странным скользящим акцентом. — Мы уже встречались. Я — миссис Санчес. Уми Санчес. Я представляю гражданский отдел военной администрации острова.

Она помолчала, всматриваясь в лица девочек, а затем добавила на чистом, мягком окинавском диалекте — тихо, словно делясь тайной:

— Мои родители родом с острова. Из Урасоэ.

Урасоэ. При звуке этого имени у Юрико что-то коротко и слепо ёкнуло внутри. Это было совсем рядом с её родной деревней Мавасиасато. Это был её прежний мир — разрушенный, перевёрнутый, ушедший когда-то за океан и теперь вернувшийся назад в американском джипе.

Мико выпрямилась. Её спина стала абсолютно прямой, плечи развернулись — привычный рефлекс перед лицом любой неизвестности. В этом движении не было вызова, только абсолютная готовность держать удар.

— Мы можем чем-то помочь, миссис Санчес? — спросила Мико. Её голос прозвучал ровно. Чуть ровнее, чем следовало.

— Здесь одежда, — Уми Санчес указала на тюки. — Гуманитарная помощь из резервных запасов. Там рабочие комбинезоны, блузы, немного гражданских платьев. Вы должны распределить это среди женщин в вашем секторе. Выбрать тех, кому нужнее всего. Но сперва... — она пристально, сверху вниз, осмотрела обтрёпанный подол Мико, — сперва подберите что-то для себя.

Юрико открыла было рот, чтобы сказать, что школьная форма Первой женской школы — это всё, что у них осталось, что они не могут её снять, но слова застряли в горле.

В этот самый миг у неё нестерпимо зачесалась левая ладонь. Зуд был глубоким, идущим откуда-то изнутри, прямо из костей — ровно в тех местах, где на подушечке большого пальца и у основания мизинца темнели два крошечных шрама в виде полумесяцев. Это не был зуд от пота или пыли. Он был почти мистическим, пугающим. Юрико судорожно сжала ладонь в кулак и убрала руку за спину, словно эти отметины пещеры Ихамигама предупреждали её: старая кожа должна сойти. Как сходит чешуя со змеи.

Мико заметила её резкое движение, коротко взглянула на неё, но ничего не сказала.

— Вы здесь уже не школьницы, — тихо, но с настойчивой твёрдостью произнесла миссис Санчес, глядя Мико прямо в глаза. — Школ больше нет. Вы — учителя. Вы отвечаете за этих детей. Ваша одежда должна соответствовать тому, что вы делаете. Детских вещей в этих тюках нет, но мы ждём транспорт с Гавайев, там будет одежда и обувь для сирот. Я привезу её, как только она поступит.

Мико опустила глаза на свои ладони, испачканные мелом.

— Хорошо, миссис Санчес, — ответила она. — Мы сделаем всё, как вы говорите.

Она сделала короткий вдох, и в её взгляде проступила резкая, взрослая прямота.

Санчес посмотрела на Мико, на Юрико, на Хинату, который сидел в стороне на циновке — и в её взгляде появилось что-то, чего Юрико не ожидала: не жалость, не сочувствие, а осторожность. Как будто она собиралась сказать что-то, от чего зависит всё. И боялась. Не за себя — за них.

— Вы были... — начала она. Остановилась. Поправилась: — Вы же были в пещере Ихамигама? С Минато Кобаяси?

Мико напряглась. Юрико это почувствовала — не глазами, а телом: плечо Мико рядом с её плечом стало — твёрже, холоднее, как становится твёрдым и холодным камень, когда на него падает тень.

— Да, — ответила Мико. — Мы были с сэнсэем Кобаяси. Он распустил наш отряд. Раздал нам... — она замолчала на мгновение, — вещи. И сказал бежать.

Уми Санчес кивнула. Медленно. Вдумчиво.

— Минато Кобаяси — жив, — сказала она.

Тишина.

Не та тишина, которая бывает, когда замолкают слова. Другая. Та, которая бывает, когда воздух меняет температуру, и все, кто дышит этим воздухом, чувствуют это изменение одновременно: Юрико и Мико замерли.

— Он не покончил с собой, — продолжила Уми Санчес. Голос был на удивление спокойным, профессиональным, — тем голосом, которым сообщают факты, не давая им эмоций. — Когда вы ушли, он присоединился к остаткам тридцать второй армии. Они пытались прорваться на юг, к скалам Киян, но их накрыла артиллерия. Он был тяжело ранен осколками в грудную клетку и левое плечо. Американские санитары подобрали его несколько дней назад в поле. Сейчас он в семьдесят шестом полевом госпитале. Состояние стабильное, он будет жить.

Юрико услышала, как Мико медленно, прерывисто выдохнула. Это был выдох, который она сдерживала, казалось, целый месяц — с той самой секунды, как учитель встал в проёме пещеры. Это не было радостью или облегчением. Это было окончательное, сокрушительное крушение иллюзий. Учитель, отправивший десятки доверившихся ему девочек на смерть во имя чести, сам не выдернул чеку. Он выбрал жизнь — раненую, позорную, в плену у тех самых «длинноносых демонов», которыми пугал их до судорог.

Мико медленно кивнула. Её лицо превратилось в маску из белого камня. В этом кивке не было злости. Только освобождение от последнего призрака пещеры Ихамигама. Последняя стена Империи в её голове рухнула и рассыпалась в пыль.

— Вы можете... — Мико запнулась, не зная, что сказать. — Передайте ему...

И остановилась. Потому что не знала, что именно они «могут». Навестить? Написать? Поблагодарить? Попросить прощения? За что? За то, что выжили? За то, что бросили гранаты? За то, что не умерли, как он просил?

— Вы можете передать ему... — начала Мико снова. И снова остановилась.

— Я передам, что вы живы, — тихо перебила её Санчес, избавляя от необходимости искать слова. Она достала из кармана маленький блокнот, вырвала чистый листок и протянула Мико. — Это мой адрес в администрации. Если что-то случится, или если детям срочно понадобятся лекарства — передайте мне записку через переводчика, сержанта Кимуру. Он знает, где меня искать.

Мико взяла листок, аккуратно сложила его пополам и убрала в глубокий карман хакама — туда, где когда-то лежала граната.

— Спасибо, — сказала она. На этот раз — по-настоящему.

Миссис Санчес кивнула, повернулась и села в джип. Машина тронулась, и густая белая пыль скрыла её силуэт. Когда пыль осела, джипа уже не было.

Тюки развязали только к вечеру, когда солнце окончательно зашло, оставив на небе багровую, медленно остывающую полосу.

Внутри холщовых мешков оказались вещи из какого-то старого военного резерва. Пахло нафталином, мылом и сухой фабричной чистотой. Мико бережно перебирала платья. Одно из них — светло-жёлтое, из тонкого хлопка в мелкую белую ромашку — она вытащила и приложила к себе. Юрико посмотрела на неё и замерла. На фоне этой мирной, глупой, безмятежной расцветки перепачканное сажей лицо Мико, её ввалившиеся глаза и острые скулы выглядели почти пугающе. Жёлтые ромашки были деталью из какой-то другой, навсегда стёртой жизни.

Мико посмотрела на ткань, затем в глаза Юрико. Молча сложила платье и отложила его в сторону.

— Нет, — тихо сказала она. — Мы возьмём комбинезоны.

Она вытащила две одинаковые стопки тёмно-оливковых, почти чёрных рабочих комбинезонов из плотной саржи, с железными молниями и глубокими карманами. На спине каждого мелкими буквами было выведено: «USACE».

— Нам? — спросила Юрико.

— Нам, — ответила Мико. И в её голосе не было вопроса. Было решение.

Юрико не спорила. Она знала: когда Мико говорит «нам» — это не предложение. Это приказ. Мико выбрала. И выбор Мико был правильным: не платья, не серые блузки, не хлопковые юбки, а комбинезоны. Тёмные. Одинаковые. Незаметные. Потому что платье — это как обращение. Платье говорит: «я женщина, посмотрите на меня». Комбинезон говорит: «я никто, пройдите мимо».

И это было то, что им нужно. Не красота. Не достоинство. Невидимость. Право быть незамеченной. Право пройти мимо осуждающего взгляда и не получить удар.

Они переоделись за ширмой из старого армейского одеяла. Когда Юрико натянула тяжёлую ткань и вышла к свету керосиновой лампы, Хината, грызший до этого кусочек сушёного тростника, вдруг замер, поперхнулся и залился звонким, залиvistым смехом.

Комбинезоны были сшиты на взрослых, рослых американских механиков. На худых, истощённых девочках-подростках они висели, как паруса на

сломанных мачтах. Плечевые швы съехали к самым локтям, штанины волочились по земле, ворот нелепо оттопыривался, обнажая тонкие белые ключицы, а в талии мог бы легко поместиться ещё один Хината.

Юрико посмотрела на себя, потом на Мико, которая стояла точно в таком же бесформенном чёрном мешке с рукавами до колен, сохраняя при этом свою невозмутимую, прямую самурайскую осанку. Мико выглядела настолько нелепо, серьёзно и одновременно трогательно, что Юрико впервые за много месяцев почувствовала, как внутри неё поднимается тёплая, щекочущая волна. Она фыркнула. Потом улыбнулась. А затем рассмеялась — сначала тихо, с хрипотцой, отвыкшим от смеха горлом, а потом всё громче, закрывая лицо руками. Это была лавина. Корка льда внутри неё треснула, и сквозь неё хлынула живая вода.

Хината хохотал, катаясь по циновке и показывая на них пальцем:

— Вы... вы как грибы! Большие чёрные грибы после дождя!

Мико сначала нахмурилась, но уголки её губ дрогнули. Она опустила голову, и её плечи в огромном американском комбинезоне тоже затряслись от беззвучного, очищающего смеха. На глазах у обеих выступили слёзы — и это были первые слёзы в лагере, в которых не было горя.

— Ничего, — выдавила Мико сквозь смех, вытирая глаза рукавом. — Ничего. Мы их ушьём.

Они ушивали их в глубокой темноте, при тусклом золоте керосиновой лампы.

Мико резала грубую ткань блестящими американскими ножницами, которые им несколько дней назад принёс Рен Кимура, а Юрико быстрыми, точными движениями сшивала края. Нитки они использовали парашютные — белые, шелковистые, невероятно крепкие. И от этих ниток, от этих ровных белых швов на суровой чёрной ткани комбинезоны переставали быть американскими или японскими. Они становились их собственными. Потому что шов — это подпись. Он говорит: «Я здесь. Я жива. Мои руки делают этот мир».

Хината сидел рядом. Он уже не смеялся — он смотрел на них с тем особенным, нечеловеческим детским вниманием, с каким дети наблюдают за работой взрослых, запоминая каждую деталь. Руки Мико двигались быстро и уверенно. Юрико смотрела на эти ладони, с коротко стриженными ногтями, загрубевшие от стирки и мела. Она любила эти пальцы больше всего на свете — за то, что они умели делать вещи посреди хаоса, за то, что они не опускались, когда рушился горизонт. Каждым швом, каждой затянутой нитью руки Мико делали этот разорванный мир чуточку лучше. На один сантиметр. На один стежок.

Хината заснул мгновенно — просто закрыл глаза и повалился набок, уложив голову на колени Юрико. Она бережно поправила под ним край одеяла и вернулась к работе.

В палатке стало тихо. За брезентовыми стенами текли привычные лагерные звуки: далёкий плач младенца, лай собак, гул далёкого самолёта. Но здесь, внутри золотого круга света, царил покой.

Между двумя ударами иглы Мико вдруг остановила ножницы. Она подняла голову и посмотрела на Юрико.

— Ты злишься?

— На что?

— На Кобояси.

— Нет... А ты?

— Нет, — ответила Мико. И неожиданно улыбнулась.

Не одними уголками губ, как обычно, а полностью. Открыто, тепло, ночной и беззащитной улыбкой человека, который вспомнил, каково это — быть счастливым.

У Юрико от этой улыбки сладко и невыносимо заболело всё тело. Ей захотелось наклониться, сократить эти несчастные полметра между ними и коснуться губами её щеки. Захотелось произнести слово, которое уже давно жгло кончик языка — слово, которое она, скорее всего, не произнесёт никогда в жизни, и которое останется с ней до самого конца.

— Хорошо сидит, — тихо сказала Мико, кивнув на ушитый рукав комбинезона. Она говорила о ткани, но Юрико знала, что она говорит обо всём их странном, хрупком мире.

— Хорошо, — ответила Юрико.

Глава 8. Звнящая пустота

В ту ночь Тамар пришла в последний раз перед тем, как всё изменилось. В последний раз перед тем, как мир — не их лагерный мир, не мир Окинавы, а мир как таковой, в его космической целости, — сделал то, что делает разбитая чашка: разлетелся на осколки.

Юрико лежала на циновке и смотрела вверх, на колеблющееся от ветра полотно палатки. Жара над Симабуку к началу августа стала невыносимой. Она больше не опускалась с неба, а поднималась от самой земли — густая, дрожащая, пахнувшая солью, нафталином и испарениями тысяч тел. Время в лагере плавилось. Хината спал рядом на животе, раскинув руки и смешно двигая губами, словно всё ещё помнил редкую сладость пайкового батата. Мико

дышала ровно, закинув одну руку за голову, и её лицо в полутьме палатки казалось белым, застывшим гипсовым слепком.

Юрико не спала. Она ждала телом, кожей, тем глубоким местом внутри, которое чувствует падение атмосферного давления перед тайфуном. Это место знало: Тамар придёт. Уже две недели этот раскалённый морок преследовал её каждую ночь, становясь всё ближе, чётче, неминуемее.

И Тамар пришла.

Огонь был повсюду. Город горел весь, от края до края, с какой-то страшной, роковой красотой. Это был великий город из белого камня — с узкими крутыми улицами, арками и бассейнами, в которых теперь стояла не вода, а тёмная, запёкшаяся кровь. Белый камень чернел, покрываясь копотью. На холме, над этой огненной бездной, возвышался огромный Дом Бога — Храм с золотой крышей. Он горел медленно, с тяжёлым достоинством, словно не умирал, а трансформировался, превращаясь из камня в чистый, карающий свет. Внизу, в дыму, кричали люди и звенело железо чужих солдат, закованных в панцири, похожие на блестящие спины жуков.

Тамар стояла на плоской крыше, и горячий ветер трепал её длинные чёрные волосы. Слезы мгновенно высыхали на её щеках, оставляя соленые дорожки.

Рядом стоял отец. Высокий, сильный, с лицом, высушенным пустынными ветрами. Юрико узнавала это лицо — в его страшном, непоколебимом спокойствии было что-то от учителя в ту секунду, когда он встал в дверях пещеры и приказал отряду умереть.

Отец обнял её — крепко, до боли в рёбрах, как будто прощаясь. От него пахло потом, дымом и металлом.

— Нам пора, Тамар, — сказал он, и голос его был суше пепла. — Мы идём к нашим. Мы уходим на скалу в пустыне. Здесь всё кончено.

Его руки разжались. Тепло ушло, оставив леденящую пустоту. Тамар повернулась, чтобы бежать, но перед этим в последний раз оглянулась на горящий священный город.

И в этот миг небо раскололось.

Тьму над горизонтом разорвала вспышка. Она была абсолютно беззвучной, но в тысячи раз ярче полуденного солнца — слепящий, неестественный, выжигающий сетчатку белый свет. А за ней, чуть левее, за краем земли, расцвела вторая вспышка. Эти два невозможных солнца не принадлежали древнему миру. Они пришли откуда-то из далёкого будущего, чтобы навсегда стереть прошлое. Воздух содрогнулся, цвет неба стал невозможным, фиолетово-серым, и в этом безжалостном сиянии белый город,

Храм, золотая крыша и кричащие люди начали плавиться, истончаться и превращаться в тени, бесследно исчезая в белой пустоте.

— Беги! — донёлся далёкий голос отца. — Тамар, беги!

Юрико открыла глаза.

Зелёный брезентовый потолок палатки. Дырки от осколков, сквозь которые пробивался обычный, утренний тропический свет. Тихий сап Хинаты. Обычный мир, в котором не было каменных городов и горящих храмов, стоял на месте, и от этого контраста Юрико хотелось закричать. Два шрама-полумесяца на её левой ладони нестерпимо, глухо ныли — монотонно, как ноет старый перелом перед переменной погоды. Она судорожно сжала кулак, пряча руку, словно удерживая внутри темноты пальцев осколки чужого апокалипсиса.

Утро 15 августа 1945 года началось как обычно. Солнце встало вязкое, влажное, и палатки задышали, выпуская ночной пар. Рис выдали по часам, вода из колонки текла тёплая и ржавая. Дети собрались на занятия, неохотно волоча босые ноги по красной пыли.

Юрико стояла перед тридцатью учениками и углём рисовала на обрубке фанеры буквы. Кусок угля крошился в её пальцах от пота.

— А, — говорила она, стараясь держать голос ровным. — Произнесите: а.

— А-а-а... — послушно отвечал детский хор.

— И.

— И-и-и...

— Сэнк ю.

— Сэн-кю...

Дети вытягивали губы, смешно гримасничали от напряжения, и Юрико едва заметно улыбалась им. На секунду ей показалось, что сквозь эту рутину жизнь можно склеить заново.

Ш-ш-ш-кр-р-р-р.

Звук разорвал воздух лагеря, как рвут плотный шёлк. Это был резкий, сухой электрический треск, пущенный по проводам. Дети испуганно замолчали и повернули головы. Треск шёл отовсюду — сверху, с боков, пропитывая сам воздух. На площади, у водонапорной вышки, американские связисты как раз закончили крепить к шестам огромные серые раструбы репродукторов.

Сквозь палаточные ряды к их импровизированной школе быстро шёл Рен Кимура. На нём не было каски, воротник форменной рубашки был расстёгнут, а на скуле судорожно подёргивалась мышца. В его движениях исчезла привычная переводческая плавность; он шёл так, словно посреди лагеря на него рушилось небо.

— Занятия прекратить, — сказал Рен, поравнявшись с девочками. Голос его был твёрдым, но лишённым всякого командного тона. Он не смотрел им в глаза, его взгляд был прикован к серым металлическим рупорам. — Соберите детей и выходите на площадь. Всем приказано слушать.

— Что слушать, господин Кимура? — Мико отложила канкэра-сансин, её пальцы замерли на струне.

— Эфир из Токио, — тихо ответил Рен, и его губы превратились в тонкую линию. — Живой Бог будет говорить со своим народом.

К полудню лагерь Симабуку превратился в единый, затаивший дыхание организм. Десятки тысяч людей — бледные женщины в лохмотьях, крестьяне из центральных деревень, рыбаки из Итомана, сироты, бывшие чиновники в разорванных пиджаках — стояли в этой бурой пыли под безжалостным зенитным солнцем. Плотное, звенящее молчание повисло над площадью. Это была не просто тишина, а полное отсутствие звуков, от которого закладывало уши, как при падении в пропасть.

Ровно в двенадцать из серых раструбов донёсся шипящий треск старой граммофонной иглы. Затем слабо, сквозь тысячи миль океанских помех, эфирного шума и свиста, зазвучали торжественные, тягучие звуки гимна «Кимигаё ва». А после него заговорил голос.

Голос был тонким, высоким, слегка гнусавым и... совершенно человеческим. Он читал текст на гёкуон-хосо — древнем, архаичном придворном языке, на котором никогда не разговаривали с простыми людьми. Это был язык, созданный для общения с богами.

Юрико стояла между Мико и Хинатой, вслушиваясь в этот трескучий, далёкий звук. Окинавские крестьяне, чей родной утинаути был так непохож на государственный язык, вокруг неё не понимали и половины слов, построенных из сложных, удушающих своей вековой формальностью иероглифических начертаний и слов. Но язык был не важен. Интонация, надтреснутая и слабая, говорила сама за себя. До слуха Юрико долетали лишь обрывки фраз, плывущие над толпой, как обломки разбитого корабля: «...принять условия совместной декларации...», «...переноса невыносимое и терпя нетерпимое...», «...ввиду использования противником новой и самой жестокой бомбы...».

Это была капитуляция. Безоговорочная. Полная. Император Сёва, потомок богини солнца, Живой Бог, объявлял по радио, выставленному его врагами, что война проиграна.

То, что произошло в лагере в следующую секунду, было похоже на тектонический сдвиг.

Лагерь рухнул. Буквально, физически осел в сухую пыль. Старые женщины — те самые, что ещё вчера провожали Юрико и Мико

презрительными взглядами у котлов, шипя про «дочерей Императора, которые обязаны были умереть ради чести», — падали на колени. Они впились ногтями в землю, закрывали рты ладонями и выли. Этот страшный, первобытный вой поднимался над Симабуку, сливаясь в одну невыносимую ноту общего краха. Старики плакали навзрыд, как брошенные в лесу дети, разбивая кулаки о камни. Мужчины закрывали лица руками, молча раскачиваясь из стороны в сторону, и по их грязным щекам текли крупные, редкие слёзы.

Империя, казавшаяся вечной и гранитной, рушилась под треск американских динамиков. Бог оказался просто уставшим, побеждённым человеком в далеком Токио.

Юрико стояла абсолютно ровно. Она не упала в пыль. Справа её руку мёртвой хваткой сжимала Мико — и ладонь Мико была сухой, горячей и твёрдой, как камень. Слева за её широкую штанину огромного, ушитого комбинезона инженеров цеплялся испуганный воем толпы Хината.

Юрико смотрела на серый металлический рупор, и в её голове, очищенной от малейших эмоций, воцарилась пугающая, кристальная, ледяная ясность.

«Ради этого голоса?» — подумала она.

Ради этого тонкого, слабого, надтреснутого голоса, читавшего текст по бумажке в закрытом дворце за тысячи миль отсюда? Ради этого маленького человека их, окинавцев, которых присоединили к этой огромной Империи меньше века назад, которых всегда считали чужаками, людьми второго сорта, заставляли взрывать себя в сырых пещерах? Ради него Кобаяси-сэнсэй раздавал им глиняные гранаты и приказывал разmozжить себе головы? Ради этого гнусавого звука из радиоприёмника её подруги сорвали чеки, превратившись в кровавое месиво на каменных стенах Ихамигамы? Ради него тысячи её земляков прямо сейчас лежали на дне океана, прыгнув со скал Киян, веря, что спасают какую-то высшую, священную «честь Японии»?

А Бог просто вышел к микрофону и разрешил им сдаться. Разрешил не умирать. Разрешил перестать быть «щитом Империи» и стать наконец просто людьми.

И в это мгновение, посреди бьющегося в истерике лагеря, Юрико почувствовала, как тяжёлая, свинцовая плита вины, которая давила ей на плечи с самого дня побега, стекла, как ртуть. словно те два страшных, невозможных солнца из её сна прожгли её насквозь, обращая прошлое в прах.

Стыд перед мёртвыми девочками. Страх перед осуждением выживших. Липкое лагерное проклятие «вы должны были погибнуть там» — всё это сгорело

мгновенно, как сухой лист. Смерть в темноте пещеры — это не единственная доблесть.

Но на месте сожжённой вины не возникло ни радости, ни облегчения. Там осталась лишь звенящая, чистая, абсолютная пустота.

И свобода.

Юрико повернула голову и посмотрела на Мико. Мико смотрела на неё в ответ. Их глаза встретились сквозь какофонию чужого плача и затухающих радиопомех. Лицо Мико было белым, как мел, но в глубине её тёмных, мокрых глаз Юрико увидела ту же самую спасительную, освобождающую мысль: Прежнего мира больше нет. И слава богам, что его нет.

Их дома были сожжены, их страна исчезла, их Император сдался. У них не осталось вообще ничего, кроме этих ушитых комбинезонов чужой армии и куска фанеры с углём. Но они стояли на ногах.

Голос в репродукторах смолк. Передача прекратилась, оставив лишь ровный, мёртвый гул статического электричества. Мир вокруг — небо, солнце, пыль, сухие деревья — остался совершенно равнодушен к тому, что Империя только что перестала существовать. Мир продолжал быть, и от этого космического безразличия природы Юрико вдруг стало невероятно легко. Камень, который она тащила, упал не потому, что она его бросила, а потому, что он сам устал давить.

На левой ладони, на подушечке большого пальца и у основания мизинца, два полумесяца шрамов наконец погасли. Они не исчезли, кожа навсегда сохранила эти отметины, но они перестали ныть, чесаться и пульсировать. Они замолчали, как замолкает струна, когда доиграна последняя, самая трудная нота. Тамар ушла, или, наоборот, навсегда растворилась в её теле, но история, которая мучила её по ночам, была завершена. Город сгорел. Небо вернулось к своему обычному цвету. Отец отпустил её руку.

Хината сильно потянул Юрико за край куртки.

— Юрико-нээ... — прошептал он, и его голос сорвался от страха перед воем толпы. — Что сказал этот дядя из коробки? О чём он говорил?

Юрико медленно опустилась на корточки, лицом к мальчику. Она посмотрела в его огромные, круглые, чистые чёрные глаза, на его грязные щёки и разорванный воротник рубашки. Она протянула руку и мягко коснулась его плеча.

— Он сказал, — тихо, но отчётливо произнесла она, — что война кончилась. Совсем кончилась.

Хината долго всматривался в её лицо, словно пытался понять, не шутит ли она. Его маленькие пальцы судорожно сжались.

— Значит... значит, моя мама теперь придёт?

Юрико замерла. Ответа не было. В этом новом, только что родившемся из радиопомех мире никто не знал, возвращаются ли мамы из мёртвых, отстроятся ли заново города и останется ли прежним море. Это было время полного, пугающего незнания. Но в этом же незнании крылась и вся их будущая, единственная надежда.

— Придёт, Хината, — солгала Юрико. Или не солгала — она не знала. Но она знала, что в мире, который они начинают строить на этом острове, ребёнку нужно сказать именно это. Потому что мир, в котором детям обещают возвращение матерей, — это единственный мир, в котором стоит продолжать жить.

Хината шмыгнул носом, поверил и наконец отпустил её комбинезон.

Юрико поднялась и снова посмотрела на Мико. Мико протянула руку и обняла её. Прежний мир ушёл, оставив после себя лишь звенящую тишину, но они были здесь. Втроём. На площади, в лагере, среди сотен палаток и щитов с бумажными птицами, под чистым окинавским небом, которое так и не изменило свой цвет.

Глава 9. Сентябрьские числа

К началу сентября воздух в Симабуку изменился. Исчезла та сдавленная, звенящая, предсмертная вибрация, с которой люди месяцами смотрели в небо, ожидая новой порции огня. Жара стала суше, ночи — прозрачнее, и ветер, налетавший с юга, больше не пах удушливой гарью фосфора; теперь он нёс горьковатый, остывший запах пепла и сухой соли.

Лагерь больше не был тупиком, где ждали конца света. Он превратился в большой, пульсирующий, временный вокзал на пути к чему-то новому.

Законы этого вокзала менялись каждый день, исподволь и незаметно, — так рассасывается утренний туман, превращая вчерашнюю глухую стену в открытый проход. Американская администрация начала выдавать пропуска. Колючую проволоку между секторами не убрали, не срезали — просто однажды утром ворота оказались распахнуты настежь, и люди, неделями сидевшие взаперти, пошли друг к другу. Лагерь перестал быть лагерем; он закипел, зашумел перекрёстками, голосами, толчейей и запахами чужой полевой еды.

Кого-то уже отпускали навсегда. Молодых мужчин отправляли на юг — на разминирование дорог, на расчистку завалов, на строительство временных деревянных мостов. Женщин с младенцами направляли в другие пункты, ближе к их уцелевшим родным местам. Стариков отпускали просто так: идите, мол, если есть куда.

Но люди текли не только из лагеря — они текли и в него. С севера, из диких горных джунглей, спускались те, кто прятался в пещерах все эти месяцы. Они приходили такими, что от них хотелось отвернуться: худые, заросшие, в истлевшем тряпье, с огромными чёрными глазами, в которых не осталось ничего, кроме звериного внимания. От них пахло сыростью, долгим страхом и тем специфическим, сладковато-кислым запахом, который появляется, когда человеческое тело начинает есть само себя от голода. Весь остров за пределами колючей проволоки лежал в руинах — лунный пейзаж, покрытый красной землёй и заваленный битым камнем. Деревни Наха, Маваси, Сюри были стёрты гусеницами бульдозеров так тщательно, что возвращавшиеся крестьяне не могли отыскать даже фундаментов своих домов.

И потому брезентовый город Симабукку с его строгими очередями за рисом, пайковым мылом и гудящими водонапорными вышками парадоксальным образом оставался единственным оплотом порядка на Окинаве. Здесь, по крайней мере, была предсказуемость. Здесь была геометрия жизни.

Рен Кимура сидел на капоте своего запylённого армейского джипа, припарковав его в тени огромного столетнего баньяна на самом краю площади, и смотрел на школу.

Он курил «Лаки Страйк», горький, крепкий дым поднимался в неподвижном воздухе сизой тонкой нитью. Пальцы Рена машинально, по старой американской привычке, сплетали из длинной сухой травинки очередной индейский узелок. Перед ним, на вытоптанном пятачке земли, тридцать босых детей сидели кругом на плетёных циновках. Юрико и Мико — в своих безразмерных, тщательно ушитых аккуратными белыми стежками американских комбинезонах — вели урок арифметики.

В центре детского круга блестела куча пустых латунных пулемётных гильз. Из этих гильз они построили свой мир.

— Пять и три, — громко, отчётливо говорила Мико, откладывая пять стреляных гильз влево и три вправо. — Сколько будет вместе? Посчитайте.

— Ни, сан, си, го... — вразнобой звенели детские голоса, и Хината, сидевший ближе всех к фанерной доске, важно сгребал латунь в одну общую кучу, подтверждая правильность счёта. — Восемь! Восемь, сэнсэй!

Рен смотрел на Юрико. Она сидела на корточках, углём выпрямляя кривые цифры на обрубке фанеры. В профиль её лицо, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами, казалось высеченным из выцветшего, хрупкого дерева.

Переводчик затаился, и его отцовская, японская кровь в сотый раз задавала ему один и тот же мучительный вопрос: «Как?»

Как так получилось, что эти обычные, нормальные люди, эти тонкокожие школьницы, чьей самой большой заботой ещё весной должны были быть оценки по каллиграфии и цвет лент в волосах, оказались на самом дне этого нечеловеческого ада? Кто загнал их в сырые пещеры Ихамигамы? Кто вложил в их детские пальцы тяжёлые керамические гранаты? И как они теперь, посреди этой звенящей пустоты, находят в себе силы улыбаться углами губ, поправлять воротнички сиротам и складывать пустые пулемётные гильзы, чтобы учить детей математике?

В Сакраменто, когда Рен уходил на фронт, американские газеты писали, что они едут сражаться с фанатичной, безликой, безжалостной ордой. Но здесь, на этой пыльной площади, не было фанатизма. Были только две девочки, которые из жестяных консервных банок, обрывков парашютного шёлка и стреляных гильз упрямо, стежок за стежком, сшивали разорванную вселенную обратно. Не потому что они были героями. А потому что тело хотело жить, руки хотели работать, а дети — считать.

Рен глубоко вздохнул, бросил окурок в бурю пыль и медленно, тяжело раздавил его подошвой армейского ботинка. В его нагрудном кармане, прямо над сердцем, лежал сложенный вчетверо лист бумаги с бланком Красного Креста. Ответы на их записки со Стены Имён.

Занятие закончилось. Дети с шумом и криками разбежались к полевой кухне, где как раз начали раздавать твёрдые галеты. Юрико и Мико, отряхивая испачканные углём и пылью колени, подошли к джипу.

— Добрый день, господин Кимура, — Юрико слегка поклонилась, её спина оставалась прямой. Мико просто кивнула, её взгляд, как всегда, был сканирующим, медицинским, готовым к обороне.

Рен выпрямился, опершись о капот.

— Добрый день. — Он мельком посмотрел на Хинату, который всё ещё возился на циновке, выстраивая из оставшихся гильз длинную ровную дорожку. Понизив голос, Рен сказал: — Мне нужно поговорить с вами. Без мальчика. Пожалуйста.

Улыбка, едва наметившаяся на губах Юрико, мгновенно исчезла. Пространство между ними в секунду сжалось, став плотным и тяжёлым. Молекулы воздуха словно замерли. Тот самый древний механизм предчувствия, который спасал Юрико в джунглях, глухо заворочался внутри. Мико не задала ни одного вопроса. Она просто повернулась и крикнула:

— Хината! Иди к котлам, займи нам очередь за галетами! Быстро!

Мальчик нахмурился, подозрительно перевёл взгляд с Мико на высокого переводчика в чужой форме, но послушно сорвался с места. Его босые грязные ноги с потрескавшимися подошвами засеменили по раскалённой глине. Юрико

смотрела ему вслед с внезапной, острой болью внутри — не от жалости, а от глубокой, безусловной любви к этому маленькому существу в рубашке на трёх пуговицах.

Рен дождался, пока вихрастая макушка Хинаты скроется за брезентовым крылом палатки общественного питания. Он медленно достал из кармана бумагу, но не стал разворачивать её. Он знал этот текст наизусть. Каждое слово. Каждое число.

— Бумажные птицы долетели, — тихо сказал Рен. Он повернулся к Мико. С ней нужно было говорить, как говорят с выжившими солдатами — коротко, честно, без пощады. — Нисида-сан. Списки из Итомана и фильтрационные данные Красного Креста сверены. Официально. Твои родители... они погибли. Под артиллерийским обстрелом на перекрёстке у Сюри. В начале июня. До пещер они не добрались.

Тишина.

Не та тишина, которая наступает после слов, а другая — абсолютная пустота, в которой мир перестаёт существовать. Мико не шелохнулась. Ни один мускул на её лице, белом как лагерная известь, не дрогнул. Лицо её мгновенно превратилось в маску, которую Рен видел сотни раз на этой войне, — маску человека, который готовился услышать худшее и теперь принял удар, не согнувшись. Только её руки в глубоких карманах комбинезона медленно, до хруста в суставах, сжались в кулаки. Она знала это. Носила это знание в себе с той самой секунды, как выбросила гранату в джунглях, просто теперь коробка открылась.

— Я поняла, — её голос был ровным. Пугающе ровным, сухим, как песок. — Благодарю вас за труд, господин Кимура.

Рен перевёл дыхание, чувствуя, как внутри всё сжимается от её спокойствия, и повернулся к Юрико. Юрико смотрела на его губы, боясь сделать вдох.

— Накаяма-сан, — Рен сделал паузу и вдруг произнёс её имя по-другому, мягко, без официальных суффиксов, просто: — Юрико. Твой отец, Дзиро Накаяма... он погиб. В самом конце боёв за Окинаву.

У Юрико резко подогнулись колени, земля ушла из-под ног, но Мико мгновенно, железной хваткой вцепилась в её локоть, удержав, разделив её тяжесть на двоих.

— Он пытался добраться до вашей пещеры, — голос Рена стал тише, он словно сам шёл босиком по битому стеклу. — Он искал Ихамигаму. Хотел вытащить тебя. Его нашли на тропе. В двухстах метрах от входа в пещеру.

«Двести метров».

Это число ударило Юрико в грудь. Двести метров — это три минуты неспешной ходьбы. Это ничто. Это расстояние от её палатки до водонапорной колонки. Расстояние, которое она проходила каждый день по несколько раз, не замечая. И отец не прошёл его. Упал, накрытый шрапнелью, в трёх минутах от места, где его дочь лежала на мокром камне и слушала, как во тьме капает вода. Слезы не потекли — подземная река её горя была ещё слишком глубоко, она застряла сухим комом в горле. Юрико просто позволила этому факту быть. Позволила миру быть таким — сломанным, несправедливым, где три минуты ходьбы превращаются в непреодолимую вечность.

— Но твоя мама жива, — быстро продолжил Рен, и его голос потеплел. — Кохэку Накаяма сейчас в лагере Хаэбару, к северу от Нахи. С ней всё в порядке. Она ищет вас... А брат...

Юрико судорожно сглотнула, вглядываясь в его глаза:

— Сома?

— Он жив, — ответил Рен. — На Филиппинах. Был тяжело ранен при обороне гарнизона, потерял ступню. Ему ампутировали часть ноги в госпитале в Маниле, именно поэтому его не отправили сюда. Но ходить он может, на протезе. Я передал запрос, Красный Крест подтвердил: в ближайшие недели будут организованы рейсы для раненых. Его отправят домой, на Окинаву.

Потерял ступню.

В памяти Юрико мгновенно вспыхнул старый, довоенный кадр: Сома бежит по жёлтому песку побережья, песок летит из-под ног, брат смеётся, ветер треплет его волосы, и он бежит легко, быстро, на двух целых, сильных ногах. Теперь одной ноги нет. Она осталась там, в чужой земле.

Но он жив. Мама жива. Брат жив.

Юрико закрыла глаза, и в темноте за веками лицо отца — усталое, с трёхдневной щетиной — наконец отпустило её.

Рен помолчал, убирая бумагу обратно в карман. Потом тихо, уже совсем не как переводчик американской армии, произнёс:

— Вам обеим скоро надо будет домой. Вас ждут близкие.

Он замолчал, мгновенно осознав, какую глупость совершил. В отношении Мико, чьи родители только что официально превратились в пепел Сюри, фраза «вас ждут близкие» прозвучала как изощрённое, невольное насилие. Рен сглотнул и отвёл взгляд.

Но Мико словно не заметила этого. Её лицо оставалось безупречной, непроницаемой маской, сквозь которую жили только тёмные, мокрые глаза. Эти девочки уже перешли ту границу, за которой слова могут убить. Они видели

смерть, видели предательство Живого Бога из радиоприёмника, и гибель близких стала лишь ещё одной жёсткой координатой в их новой реальности.

Мико, по-прежнему не выпуская локтя Юрико, посмотрела Рену прямо в глаза:

— Господин Кимура. А что с мамой Хинаты?

Рен покачал головой:

— Ничего не известно. Мы проверили все фильтрационные лагеря, все гражданские списки. Мальчик не помнит своей фамилии, а без фамилии искать невозможно. Те, кто был на той дороге в ночь бомбардировки... шансов почти не было. Вероятно, она погибла. Но если она жива, миссис Санчес из службы воссоединения семей её найдёт. Это их работа.

«Воссоединение семей». Для Юрико эти слова потеряли прежний смысл. Семья — это не разбитая миска, которую можно склеить из осколков. Ткань порвана, её не зашить старой ниткой. Можно только соткать что-то совершенно новое.

— Так нас отправят домой? — спросила Юрико, глядя на ровные ряды брезентовых палаток.

И тут же, в один голос, синхронно, как школьницы на уроке, они спросили вместе:

— А что с нашей школой?!

Рен грустно и трогательно усмехнулся едва заметной улыбкой. Эти двое, узнав о крахе своей прошлой жизни, в первую очередь спросили о месте, которое они построили из ничего — из угольных букв, консервных банок и пулёмтных гильз. В этом вопросе было больше силы, чем во всём, что они пережили.

— Миссис Санчес сказала, что через пару недель этот сектор лагеря начнут расформировывать, — ответил Рен. — Людей будут развозить по уцелевшим районам. Значит, и вашу школу здесь закроют. Но... — он посмотрел на них с нескрываемым уважением, — вас дома ждут не только близкие. Там, в развалинах деревень, есть другие дети. Другие школы. Ваша работа не кончилась, девочки. Она только начинается.

Это слово — «начинается» — упало в тишину между ними, как камень в глубокую воду. От него пошли круги. Юрико вдруг почувствовала то, чему не могла найти названия. Не надежду и не план — что-то третье. Ощущение, что когда ты стоишь на краю обрыва, перед тобой открывается не пропасть, а новая дорога. Тяжёлая, грязная, но дорога.

— И когда мы... — Мико остановилась, взяла себя в руки и жёстко поправилась: — Когда мы должны уйти?

Она сказала «должны». Не «можем», не «хотим». Как солдат, спрашивающий о сроках нового приказа. Мико была той, кто превращал хаос в геометрию, а геометрию — в жизнь.

— Точной даты нет, — ответил Рен. — Думаю, речь идёт о двух-трёх неделях, пока инженерные части не расчистят дороги на юг для грузовиков.

Он повернулся и посмотрел в сторону полевой кухни. Там, среди серых и зелёных штанин взрослых беженцев, мелькала маленькая вихрастая макушка. Хината стоял на цыпочках, вытягивая грязные руки, чтобы забрать три пайковые галеты — для себя, для Юрико и для Мико.

У Рена сжалось сердце от этого хрупкого силуэта на фоне колючей проволоки.

— Мальчик пойдёт с вами? — спросил он.

Юрико посмотрела на Мико. Мико посмотрела на Юрико. В этом двойном взгляде не было сомнений. Было мгновенное, абсолютное согласие тех, для кого вопроса вообще не существовало. Хината был их третьей точкой опоры. Частью их неделимого треугольника. Без него весь их мир снова бы рухнул. Бумажные птицы Хинаты сгорели в июньском небе, и теперь Юрико сама должна была стать для него этой птицей.

— Да, — твёрдо сказала Юрико, и в её голосе больше не было той детской хрупкости, которую Рен помнил по джунглям. — Он пойдёт с нами.

— Мы поговорим с ним сегодня вечером, — добавила Мико. — Всё ему объясним.

Рен Кимура медленно кивнул. Он встал, отряхнул пыльные форменные брюки, повернулся, чтобы уйти, но остановился.

— Юрико, — тихо сказал он, обернувшись. Его взгляд был абсолютно незащитным, человеческим. — Я очень рад... рад, что твоя мама жива... Мико, прости.

И он быстро пошёл прочь, не оборачиваясь. Он знал: если он обернётся и увидит, как по её щекам наконец-то потекли слёзы, он не сможет не подойти, не сможет не коснуться её тонкого запястья, не сможет остаться просто переводчиком чужой армии.

Юрико и Мико остались сидеть на сухой земле. Рядом. Пространство между ними, когда-то бывшее безопасной дистанцией, теперь сократилось до нуля. Они молчали и дышали в один такт, и от этого общего ритмичного дыхания огромный разрушенный мир вокруг них на мгновение стал маленьким и уютным.

А впереди, на площади, Хината уже бежал к ним, прижимая к груди три галеты. Его босые быстрые ноги поднимали маленькие облачка красноватой пыли, он спотыкался, задира голову и кричал:

— Юрико-нээ! Мико-нээ! Смотрите, я занял! Я принёс!

Лагерь вокруг него снова превращался в школьный двор. А школьный двор был их единственным домом.

Юрико повернулась к подруге. Мико смотрела вперёд, на бегущего мальчика, её лицо оставалось белым и неподвижным, как обломок белого храма из сна, но глаза её были живыми. В них текло глубокое, неостановимое движение корней, пробивающих камень.

— Мико, — тихо, почти беззвучно из-за лагерного шума сказала Юрико. — Мне очень, очень жаль.

Мико медленно повернула голову. Она посмотрела на Юрико долгим, открытым, незащищённым взглядом. В этом взгляде не было надрыва. Было окончательное, взрослое признание того, что мир разрушен, родители мертвы, а лагерь расформируют. И это ничем не исправить. Единственное, что они могут сделать — это продолжать. Перешивать комбинезоны, считать гильзы, кормить ребёнка и жить дальше.

— Я знаю, — ответила Мико. — Я знаю, Юрико.

Её краешки губ дрогнули и она улыбнулась. Полностью. Открыто.

Это была та самая редкая, настоящая улыбка, которую Юрико видела всего пару раз в жизни. Улыбка человека, который прошёл сквозь горнило ада, оставил там всё, но вышел наружу — израненным, другим, но живым.

Юрико шмыгнула носом, сглотнула подступившие слёзы и улыбнулась ей в ответ. Такой же кривой, непривычной, но абсолютно настоящей улыбкой сентября.

Глава 10. Маленькая лилия

Утро конца сентября выдалось странным и пронзительно чистым. Свет шёл точно не сверху, а отовсюду: от испаряющегося конденсата на брезентовых скатах, от крупных, дрожащих капель на колючей проволоке, от влажной, прибитой к земле травы. Мир казался прозрачным, как вымытое стекло, лишённым привычной липкой тропической влажности, словно небо само извинялось за все долгие месяцы удушья. В этом хрустальном, рассеянном свечении палатки лагеря Симабукку казались не военной тюрьмой, а золотым изнутри, выцветшим корабельным холстом, выброшенным на берег за ненадобностью. Так светится излом печёного батата, когда разламываешь его пополам в сумерках и видишь тёплое солнце, затаившееся в земной тверди, — день был золотым изнутри.

Юрико, Мико и Хината стояли у края пыльной дороги, ровно и смирно, как стояли всегда. Они завязывали свои немногочисленные пожитки в два солдатских вещмешка из грубого американского брезента, которые им перед

отъездом молча выдала миссис Санчес, перевязав их тонкими парашютными стропами. На троих у них было не так много прошлого, способного поместиться в узлы: пара смен ушитых комбинезонов, несколько горстей риса, американские ножницы, огрызки карандашей и кусок рисовального угля. На самом дне одного из мешков, завёрнутый в чистую тряпицу, покоился обрубок фанеры с неровным угольным контуром Окинавы, где крошечной точкой была отмечена их конечная цель — деревня Мавасиасато.

Они были готовы. Рен Кимура предупредил их о переезде ещё позавчера.

В тот вечер, когда они в последний раз собрали детей на площади, чтобы попрощаться, Юрико почувствовала, как её сердце даёт трещину. Это не было прощанием в привычном смысле — без криков и бурных слёз. Тридцать пар огромных чёрных глаз, тридцать пар грязных рук и босых ног просто замерли на циновках. Дети Окинавы, с марлевыми бинтами на головах вместо платков и в рваных рубашках, смотрели на своих юных сэнсэев с тем стоическим, пугающим молчанием, с каким старики смотрят на уходящий в туман поезд. В этом абсолютном детском смирении было всё: и «мы понимаем», и «мы будем скучать». Мико раздала им весь оставшийся лагерный арахис, а Юрико пообещала: «Мы пришлём вам настоящий сансин. Из дерева. Когда отстроимся». Они оставили свой канкэра-сансин старшему мальчику из Итомана, и дети просто стояли, провожая их взглядами, пока девочки не скрылись за углом палатки.

Позже, в палатке, они посадили перед собой Хинату. Мико села рядом с ним на циновку, и Юрико, долго подбирая слова, начала было говорить: «Хината, лагерь закрывают. Людей увозят. Мы едем на север, к моей маме... Хочешь поехать с нами?»

Но мальчик перебил её на полуслове, посмотрев своими круглыми, глубокими глазами, в которых решение было принято задолго до самого вопроса:

— Да, — сказал он просто. — Конечно. Я еду с вами. Я буду нести мешок, я сильный. Я же не могу вас одних оставить, пропадёте.

Он не оставил им ни шанса на сомнение. Он просто закрепил свой статус третьей, упрямой точки в их нерушимом треугольнике.

— Доброе утро, — голос Рена Кимуры вырвал Юрико из воспоминаний.

Зелёный армейский «Виллис» с откинутым тентом подкатил к ним, тихо и тяжело урча мотором. От того, как заглох двигатель, наступила особенная тишина — рубеж между тем, что кончилось, и тем, что ещё не началось. Рен был в свежей форме, но без каски; его чёрные, густые волосы трепал прохладный утренний ветер. Он выпрыгнул из машины, легко забросил их брезентовые узлы в кузов и повернулся к Юрико.

В его взгляде — смуглом, скуластом, с чуть раскосыми глазами хафу — читалась та самая затаённая, бережная просьба, которую он так и не решился озвучить за все эти недели.

— Юрико-сан, — он открыл переднюю пассажирскую дверцу, и его голос чуть потерял военную сухость. — Садитесь впереди. Сзади, в кузове, будет сильно трясти.

Юрико посмотрела на открытую дверцу, потом на Рена. Она видела в нём человека, который спас их. Который приносил бумагу для уроков и контрабандный шоколад, который ночами искал имена её близких в бесконечных списках мёртвых. Это была настоящая, чистая нежность, как тепло вечернего костра. Но переднее сиденье означало близость, на которую она не имела права. И не хотела его. Ответ внутри неё давно был дан, и этим ответом была Мико. Всегда — Мико. И это «всегда» было не выбором, а свойством её существа, как свойством камня является мох.

Она качнула головой, отступая на шаг назад, плечом к плечу с подругой.

— Нет, спасибо, господин Кимура. Я сяду в кузове, с Мико.

Рен на секунду опустил глаза, кивнул и не стал настаивать. В этом едва заметном движении ресниц умерла его маленькая, личная война. Он понимал: это место — не его, этот взгляд — не для него. И это понимание было чистым, как небо после шторма. Но тут же из-под локтя Юрико вынырнул Хината.

— А я? А мне можно туда? — Мальчик завертелся на месте, указывая перепачканным пальцем на блестящую приборную панель джипа. — Я никогда в жизни не сидел спереди! Я буду штурманом! Пожалуйста!

Напряжение мгновенно лопнуло. Рен Кимура рассмеялся — открыто, искренне, как умеют смеяться только американцы. В этом коротком, человеческом смехе Юрико вдруг увидела в сержанте военной полиции обычного мальчишку из Сакраменто, который когда-то точно так же забирался в грузовик своего отца. Рен подхватил Хинату подмышки и усадил его на широкое сиденье.

— Держись крепче, штурман. Пристегнись, — сказал Рен, хотя Хината понятия не имел, как это делать, и просто вытянул шею от восторга.

Девочки забрались в кузов, устроившись на деревянной скамье. Джип дёрнулся и медленно покатился по разбитой лагерной колее.

Юрико сидела лицом назад, глядя, как Симабуку удаляется, сжимаясь в размерах. Она смотрела на бесконечные ряды брезентовых крыш, на ржавую колючую проволоку, к которой ветром прибило серые тряпки. Когда-то они были записками со Стены Имён, а теперь казались стаями молчаливых белых птиц, приколотых гвоздями к стене. Им некуда было лететь. Проплыла пустая, вытопанная площадь со следами от котлов, информационные щиты... Это

место было чистилищем. Местом, где она узнала о гибели отца и где её разум навсегда покинула Империя. Но именно этот кусок красной, бесплодной земли стал её первым настоящим домом за последнее время — домом, где они научились заново шить, дышать и чувствовать. Юрико ощущала светлую, щемящую грусть. Словно она прощалась со своей искалеченной юностью.

Джип повернул за угол, и лагерь исчез. Началась большая дорога.

Сквозь гул мотора донёлся голос Мико. Она не смотрела назад. Её взгляд был прикован к затылку Рена Кимуры через открытое окно кабины.

— Господин Кимура, — Мико пришлось говорить чётко, чтобы перекричать ветер. — А что с другими девочками из нашего отряда? Из Химэюри? Из старших классов?

Рен бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Юрико заметила, как сильно напряглись сухожилия на его шее под зелёной тканью рубашки. Он долго молчал, словно решая, стоит ли разрушать это хрустальное утро страшной правдой. Но Мико, как всегда, не нуждалась в жалости.

— Большинство погибло, — глухо ответил Рен, не оборачиваясь. Голос его снова стал сухим, переводческим. — Те, кто остался в пещерах у скал Киян и Мабуни... когда американские части подошли вплотную... кто-то... — он замолчал ненадолго. — Мы до сих пор разбираем завалы в тех пещерах. Точных списков пока нет, Красный Крест работает, но... выжили немногие. Вы — одни из них.

Юрико закрыла глаза. Их было двести двадцать две. В этой цифре крылась холодная математика конца света. Двести двадцать две девочки с белоснежными лентами в волосах, которые ещё весной боялись получить плохую оценку по географии, превратились в золу, пепел и морскую пену только потому, что безумцы в Токио решили, что их смерть будет красивой.

Она посмотрела на свои ладони в ушитых рукавах американского комбинезона. Два маленьких шрама на руке в виде полумесяцев, два отпечатка, заметно побледнели. Теперь они были похожи на тонкие, полупрозрачные лепестки цветка. Лилии. Если бы в ту секунду, в лесу, она не пересилила страх и не отбросила керамическую гранату, её имя сейчас тоже было бы развеяно над скалами Мабуни. Лицо Мико оставалось непроницаемым, каменным, но её пальцы вцепились в деревянный борт джипа с такой силой, что побелели костяшки. Юрико молча, как уже привыкла делать это в палатке, накрыла её холодную руку своей ладонью.

«Виллис» вырвался на грунтовую дорогу, петляющую по югу острова.

То, что они увидели, не поддавалось человеческому осмыслению. Дорога шла через глубокую, незажившую рану. Окинава лежала перед ними, как выпотрошенный гигант. Деревни превратились в серые пятна пепла. Каменные

мосты были разорваны пополам. На полях, где когда-то колосился сахарный тростник, красная глина была так густо взрыта воронками, что земля напоминала больную, изрытую оспой кожу. Повсюду — в канавах, на склонах холмов — ржавели искорёженные, сожжённые остовы танков, пушек и разбитых грузовиков. Ржавчина стекала по валунам бурыми, оранжевыми потоками, и казалось, что земля всё ещё истекает кровью.

Но сквозь этот inferнальный, мёртвый железный ландшафт уже пробивалась магия жизни.

Тропическая природа Окинавы не знала слова «капитуляция». Она обладала слепой, яростной, почти мистической силой. Из воронок, наполненных застоявшейся рыжей водой, тянулись изумрудные, ненормально яркие стебли дикого папоротника. Обугленные до черноты стволы хлебных деревьев вдруг выпускали из своих мёртвых, разорванных боков сочные, неоновозелёные молодые побеги. Лианы, похожие на тонких изумрудных змей, распрямлялись прямо на глазах, оплетая ржавые гусеницы «Шерманов» и расплавленные стволы зениток, со свистом возвращая железо обратно в лоно земли. Растения словно выпили всё, что осталось от войны — кровь, пепел, ржавчину и слёзы, — и превратили это в яростный, упрямый рост. Бамбук прорастал сквозь бронелисты, папоротники раскрывали свои живые веера из-под кусков бетона. Жизнь лезла из всех щелей, затягивая шрамы острова со скоростью, пугающей разум.

Юрико смотрела на эту буйную, влажную зелень, и внутри неё что-то окончательно разжималось. Она переводила взгляд с прорастающих джунглей на тонкий профиль Мико, и для неё они становились единым целым. Мико была этим самым папоротником, пробившимся сквозь этот прах. Упрямой, негибкой силой, которая не обращает внимания на танки и рухнувшие империи, а просто продолжает дышать и расти, несмотря ни на что.

— Мистер Кимура! — звонкий голос Хинаты перекрыл шум ветра и вернул их к реальности. Мальчик сильно ёрзал на сиденье, краснея до самых кончиков ушей. — Мистер Кимура, остановите, пожалуйста... Мне нужно... туда, в кусты.

Рен понимающе улыбнулся и мягко затормозил на широкой обочине, где дорога делала петлю.

— Беги, штурман, — сказал он, открывая дверцу. Но тут же добавил строго: — Только далеко не отходи! Вглубь джунглей ни шагу. Слышишь? Там могут остаться неразорвавшиеся мины. Это опасно.

Хината согласно кивнул, спрыгнул на землю в своей безразмерной рубашке на трёх пуговицах и вразвалочку побежал к стене папоротников. Юрико смотрела, как его крошечная фигурка приближается к зарослям. Мальчик шагнул за первый ряд широких листьев — и вдруг растворился. Он не ушёл глубоко, он просто исчез в зелёном, хлорофилловом мареве, слившись с лесом.

так, словно капля воды упала в океан. Просто исчез. Джунгли поглотили его без единого звука.

В ту же секунду Юрико охватило странное, зыбкое оцепенение. Это не был страх. Это была прозрачная, мистическая грусть. А что, если Хинаты никогда не было? Что, если этот мальчик, появившийся из ниоткуда в самые страшные июньские дни, не помнящий фамилии своей матери и никогда не плакавший от голода, был просто духом леса? Лесным божеством кидзимуна, порождением их собственного измученного, умирающего сознания? Духом, который заставил их остаться в живых просто потому, что о нём нужно было заботиться? И теперь, выполнив свою работу, почти доставив их к границе родного дома, он просто вернулся назад — в вечнозелёную, дикую память острова? Может быть, весь этот мир вокруг, лагерь, война — всё это было лишь долгим, затянувшимся сном?

Прошла минута. Другая. Юрико затаила дыхание. Мико тоже перестала смотреть на дорогу и напряжённо вглядывалась в шуршащую листву. Тишина, исходившая от джунглей, казалась абсолютной и древней.

И вдруг из кустов, с залиvistым, чистым детским смехом, выскочил Хината. Магия мгновенно растворилась в реальности — он был жив, реален и весь перепачкан жёлтой цветочной пылью. В руках он сжимал огромную, пушистую охапку пронзительно-пурпурных, распутившихся диких цветов хайбисукасу. Эти лесные колокольчики зацветали только осенью, сразу после больших дождей, и от них пахло невероятной свежестью, влажностью и началом новой жизни.

Он подбежал к кузову и, хохоча, швырнул всё это пурпурное великолепие прямо в девочек.

Цветы веером рассыпались по капоту, лобовому стеклу, упали на их грубые тёмно-оливковые комбинезоны, на чёрные волосы Юрико, на колени Мико. Оцепенение спало. Мокрые капли падали на ткань, и от этих крошечных, живых пятен на американском брезенте у Юрико внутри окончательно сломалась невидимая преграда. Сквозь трещину хлынул свет. Это был просто ребёнок, который нашёл цветы и хотел порадовать своих старших сестёр.

— Хината! — закричала Мико. И в этом крике впервые за все долгие месяцы прорвалось не привычное медицинское спокойствие, а звонкий, искренний девчоночий смех. — Ты нас совсем замарал!

— Это подарок! Самые красивые! — хохотал мальчик, подбрасывая цветы вверх и забираясь обратно в кабину.

Рен завёл мотор и посмотрел на них через зеркало заднего вида. На его лице была улыбка — не вежливая, переводческая, а тёплая, грустная и настоящая. Улыбка человека, который понимает, что видит нечто неуловимое и

прекрасное: маленького мальчика с охапкой цветов посреди разрушенного мира и двух смеющихся девочек.

— Поехали, леди, — сказал он, включая передачу. — Мы почти на месте.

Дорога свернула за холм. Вдали, в мареве полуденного солнца, показались очертания того, что когда-то называлось деревней Мавасиасато.

От прежней деревни не осталось ничего. Ни одной каменной стены, ни одной черепичной крыши, ни синтоистского святилища на холме. Лишь перепаханная гусеницами красная земля и обугленные пни. Но на этом лунном ландшафте уже всю кипела жизнь. Как муравьи после ливня, люди упрямо отстраивали свой мир заново. Из кусков гофрированного железа, выброшенных американских палаток, обломков фанеры и деревянных ящиков из-под снарядов они колотили новые, нелепые, кривобокие, но живые дома. Повсюду стучали топоры, шёл сизый дым от костров, а чьё-то чисто выстиранное бельё уже сушилось на проволоке, натянутой между остовом зенитного орудия и обгоревшим деревом. Каждая доска была заявлением: «Я здесь. Я жив. Я строю».

Джип медленно въехал в это самодельное поселение, поднимая облака бурой пыли, и остановился у грубо сколоченного навеса из досок и фанеры. Вместо двери там был приспособлен старый обгоревший школьный стол, а над брезентовой крышей гордо развевался кусок синего парашютного шёлка.

Юрико встала в кузове, крепко держась за железную дугу тента. У навеса, склонившись над большим жестяным тазом с водой, стояла женщина. Услышав непривычный звук мотора, она медленно разогнулась.

Она сильно постарела. Её волосы подёрнулись глубокой сединой, плечи опустились, а лицо пересекли резкие борозды скорби по погибшему мужу. Но это была мама. Кохэку Накаяма. Родная, живая. На ней было простое домашнее платье тёмного цвета — не лагерное, не американское, а своё, бережно сохранённое, чисто выстиранное и выглаженное. От этой простой, мирной ткани у Юрико перехватило горло.

Женщина стояла и смотрела на джип, на американского солдата за рулём, на странного грязного мальчика с пурпурными цветами на приборной панели. А потом её взгляд остановился на Юрико.

Она не закричала. Она не бросилась к машине, заламывая руки. Она просто выпустила из рук мокрую рубашку, которую стирала, и опустилась на колени прямо в сухую придорожную пыль. Её губы беззвучно шевелились, повторяя одно-единственное слово — имя её дочери.

Юрико не помнила, как перемахнула через борт кузова. Она даже не заметила, что её комбинезон зацепился за гвоздь, и не обратила внимания на то, что осталась без обуви. Она просто бежала — быстро, босиком, по красной,

горячей земле своей родной деревни. Камни кололи подошвы, ветер трепал волосы, а весь мир вокруг расплывался, таял и исчезал от хлынувших слёз. Оставалась только одна тонкая, прямая фигура в тёмном платье, опустившаяся в пыль.

Позади неё, у машины, Мико осторожно сняла Хинату с сиденья и поставила на землю, бережно прижимая к груди их брезентовые вещмешки. Рен Кимура, заглушив двигатель, молча смотрел на бегущую девушку, и в его тёмных глазах стояли слёзы, которых он больше не стеснялся. Никто не двигался. Это был их момент. Их объятие. Их возвращение, в которое они не имели права вмешиваться.

Юрико упала на колени прямо в пыль рядом с матерью и сильно, до боли, уткнулась лицом в её пахнущее мылом, травой и домашним дымом плечо. Материнские руки крепко обняли её в ответ.

В этом одном тихом, судорожном объятии сейчас растворялось всё: и сырая тьма пещеры, и тяжесть невыброшенных гранат, и бесконечный бег сквозь джунгли, и лагерная колючая проволока, и бумажные птицы на щитах Симабуку, и пурпурные колокольчики Хинаты, и отец, погибший в трёх минутах от спасения, и Сомы, далёкий Сомы, потерявший ступню, и Мико, потерявшая свою семью... Всё это было здесь, в этой точке, и всё это наконец-то кончалось. Не забывалось, не стиралось из памяти, но кончалось. Как кончается долгая полярная зима. Как кончается удушливая ночь. Как кончается тропический шторм.

Вместе с ней, за её спиной, стояли её Мико и её Хината. Впереди их ждала долгая, тяжёлая, грязная работа — отстраивать дом из обугленных обломков, сажать сладкий батат в перепаханную танковыми гусеницами землю, учить сирот алфавиту и заново учиться засыпать без страха.

Но над ними уже светило огромное, спокойное, тёплое сентябрьское солнце, омывшее мир после затяжного дождя. А в кармане комбинезона Юрико лежал влажный пурпурный цветок, брошенный мальчиком, который пришёл из леса. Маленькая упрямая лилия наконец-то пустила свои корни в этот пепел. И мир вокруг неё — вопреки всему — был живым.

Глава 11. Дом

Октябрь пришёл в разрушенную деревню Мавасиасато не с обрывков лагерных календарей, а с изменением самого вещества жизни. Небо потеряло свою тяжёлую, удушливую тропическую плотность, выцвело до прозрачной, хрустальной синевы, и сухой, пряной ветер с океана начал приносить запахи не гари, а йода, прелых водорослей и остывающего песка. Солнце, ещё недавно давившее на остров раскалённой подушкой, теперь грело ровно и бережно, словно стараясь загладить вину за все прожжённые летние месяцы.

Деревня не стояла. Она ползла. Медленно, упрямо, как растут кораллы на месте мёртвого известняка: миллиметр за миллиметром, веточка за веточкой. Из гофрированного железа, выброшенных американских палаточных полотнищ, обломков фанеры и досок от снарядных ящиков жители строили лачуги, которые не имели ничего общего с прежними домами — с их прочной каменной кладкой, тяжёлой черепицей и резными наличниками. Новые жилища были кривыми, покосившимися, нелепыми: с дверями из перевёрнутых школьных парт и крышами из листов жести, которые гудели и дребезжали при каждом порыве ветра, словно нестройный оркестр. Но в каждом из них вечерами зажигался робкий керосиновый огонёк, и от этих дрожащих точек света темнеющая равнина казалась обитаемой.

Накаямы строили свой угол вчетвером. Кохэку — мать Юрико — была главным архитектором, хотя она не знала этого слова и называла себя просто «той, кто указывает, куда класть доски». Юрико и Мико подчинялись ей с молчаливой, абсолютной покорностью, которая свойственна людям, обрётшим заново то, что они считали потерянным навсегда. Кохэку знала толк в дереве: до войны она плела корзины для рыбаков и умела отличить сухую, готовую к работе доску от сырой, подгнивающей, просто проведя по ней ладонью. Руки у неё были широкие, с толстыми пальцами и короткими, аккуратно остриженными ногтями. Когда Юрико смотрела на эти руки, в ней просыпалось забытое, плотное чувство безопасности: мама рядом.

Фундаментом дома послужила уцелевшая каменная кладка прежнего дома Накаям. Американские бульдозеры прошли по деревне тщательно, но этот невысокий контур из бурого окинавского известняка упрямо торчал из земли, как рёбра древнего вымершего животного. Кохэку обошла его, постучала костяшками пальцев по камню и тихо произнесла: «Крепкий. Ещё подержит».

Хината работал наравне со взрослыми. Шестилетний мальчик таскал обломки камней, подавал гвозди, придерживал фанерные щиты, когда их примеряли к стойкам, — и делал всё это с таким серьёзным, сосредоточенным усердием, словно от его работы зависел исход великой битвы. Его ладони к концу дня были покрыты мелкими занозами и белыми водянистыми мозолями, но он не жаловался. Он просто стискивал зубы и нёс. Однажды, когда рухнула плохо укреплённая стена из фанерных щитов и Юрико от неожиданности села в грязь, Хината подбежал к ней, принялся отряхивать ей колени и сказал с абсолютной строгостью: «Ничего. Перестроим. Я же сильный, ты помнишь?»

Мико была инженером. Её медицинская точность, привычка к аккуратности посреди хаоса теперьгодились в полной мере. Она чертила на земле палкой план: где будет дверь, где окно, где угол, в котором Хината будет спать. Её линии были прямыми и уверенными. Она размечала пространство так же, как когда-то накладывала швы на обтрёпанную школьную форму — стежок за стежком, доска за доской.

К ним, как и обещала Кохэку, постепенно тянулись соседи. Старик Кэндзи, который до войны был бондарем и теперь ходил с тростью из обгоревшего баньяна, приходил каждое утро. Он молча, не спрашивая разрешения, принимался точить сваи своим старым, чудом уцелевшим тесаком. Его руки помнили дерево лучше, чем он сам: они двигались ровно, вырезая идеально гладкие шипы, и от стружки, падавшей на красную землю, пахло свежим кедром и смолой. Кэндзи ничего не говорил. Он просто работал, возвращая себе привычное ремесло.

Молодая вдова Сатико, у которой осталось трое детей, приносила каждые два дня жестяной котелок горячего риса, сваренного на опилках и сушёных водорослях. Как при этом, она ухитрялась кормить ещё и своих детей — никто не знал. И никто не спрашивал. Она просто ставила котелок у порога, кивала и уходила, не дожидаясь благодарности. Кохэку в ответ относил ей мешок бататовых клубней из их первых запасов. Эти молчаливые обмены стали языком, на котором деревня разговаривала сама с собой: мы живы, мы здесь, мы делимся тем, что есть.

Огород появился даже раньше стен. Кохэку сказала: «Стены подождут. Батат — нет». И они вчетвером на рассвете принимались копать землю — ту самую, пропаханную гусеницами «Шерманов» и политую кровью. Земля сверху была тяжёлой, жирной, ржавой на вид, от неё исходил резкий металлический запах. Но под верхним, изрытым слоем скрывалась настоящая, живая окинавская почва: тёмная, рассыпчатая, с вкраплениями белого кораллового песка. Кохэку набрала горсть этой земли, поднесла к лицу, глубоко вдохнула и впервые за всё время улыбнулась.

— Живая, — сказала она. — Будет рожать.

И земля родила. Бататовые черенки, добытые у соседей и воткнутые в грядки с детской наивной верой, принялись удивительно быстро. К концу третьей недели из красной почвы полезли сочные, ярко-зелёные побеги. Жизнь не спрашивала разрешения у генералов, она просто делала свою работу.

Но в Мавасиасато, как и везде на Окинаве, жила тихая, молчаливая тень, которая не произносилась вслух, но ощущалась кожей.

Косые взгляды.

Юрико замечала их по утрам, когда несла воду от колодца. Женщины из соседних дворов — те самые, что делились досками, — иногда замирали и переглядывались, когда думали, что девушки их не видят. В этих взглядах не было открытой злости. В них было глухое, тяжёлое женское непонимание. Весь остров знал, что ученицы отряда Химэюри должны были умереть в пещерах на юге. Таков был приказ, таков был долг чести — гаман, ти-да, возведённый в абсолют. Но Юрико и Мико не умерли. Они вернулись. Они ходили по пустырю,

строили дом из чужих досок, брали у американцев бумагу и шоколад, ели их пайки и вели себя так, словно имели право на будущее.

Иногда, казалось, Юрико слышала этот шёпот у колодца. Тихий, шелестящий, как сухая трава по камням: «Они сбежали... Хорошие девочки не возвращаются из тех пещер...» Этот шёпот не был направлен против них лично — он исходил из общего котла окинавского горя, где каждая потеря нуждалась в объяснении. Но Юрико чувствовала его между лопаток. Это чувство было знакомым, как ноющая боль в заживающей кости.

Мико замечала эти взгляды тоже, но реагировала иначе. Она не опускала головы и не прятала глаз. Она выпрямляла спину, поднимала подбородок и шла дальше — ровно, спокойно, с той безупречной выправкой, которая теперь служила ей щитом. Её лицо оставалось каменным, непроницаемым. Но Юрико знала, какова цена этого спокойствия.

Однажды, когда они с Мико копали траншею под водосток, мимо прошла старая Ота-сан, потерявшая на войне всех сыновей. Она остановилась, оперлась на палку и долго, не моргая, смотрела на них своими выцветшими глазами. Потом произнесла в пространство:

— Порядочные ученицы остались в пещерах Мабуни.

И пошла дальше. Тихо, спокойно. Как человек, сообщивший непреложный факт погоды.

Мико даже не шелохнулась. Её лопата входила в землю с прежним сухим, чётким ударом — методично, метр за метром. Юрико смотрела на её прямую спину и понимала: Мико сейчас зарывает в эту землю чужие слова. Глубоко. Навсегда.

— Ничего, — тихо сказала Мико, не оборачиваясь, когда шаги старухи стихли. — Пусть говорят. У них свои мертвецы. У нас — свои живые.

Они называли свой дом «Тиди-но я» — дом из бумаги, потому что его фанерные стены были тонкими, и в ветреные ночи он весь шуршал и вздрагивал. Но он держался. Изнутри пахло свежей стружкой, керосином и варёным бататом. Кохэку повесила над дверью маленький оберег из ракушек, Мико развесила на верёвке старые школьные тетради вместо занавесок, а Хината устроил себе спальное место в углу, застелив его чистыми американскими мешками из-под сахара. Он засыпал там мгновенно, как засыпают дети, которые больше не ждут бомбёжки.

А вечером произошло сразу три вещи.

Первая: приехал Рен Кимура.

Его зелёный армейский «Виллис» подкатил к дому на закате, когда солнце уже лежало на горизонте тяжёлой медной монетой, окрашивая сухую землю в

цвет тёмного мёда. Машина пахла бензином, горячей резиной и машинным маслом. Рен вышел, как всегда, в свежей форме, но без каски. В его движениях было что-то праздничное — он нёс в руках свёрток, обернутый в американскую военную газету *Stars and Stripes*.

— Добрый вечер, — сказал он, и его голос звучал мягче обычного. — Я привёз кое-что для вас.

Он бережно развернул бумагу на приборной панели джипа. Внутри лежали три вещи.

Первой была небольшая стопка плотной белой бумаги. Настоящей, чистой, пахнувшей фабрикой и хвоей. Юрико провела пальцами по верхнему листу, чувствуя его гладкую текстуру, и у неё перехватило горло. В этом белом прямоугольнике крылось больше мирной жизни, чем во всей их лачуге. Вторым предметом была коробочка цветных карандашей — двенадцать штук в яркой упаковке с нарисованными цветами. Их нетронутые, острые грифели слабо поблёскивали. Юрико не держала в руках цветных карандашей с весны сорок четвёртого года.

Но третьим был инструмент. Настоящий сансин.

Не жестяная консервная банка с куском полевого кабеля, которую они оставили детям в лагере, а тяжёлый, округлый, созданный мастером инструмент. Его корпус был обтянут змеиной кожей, кожей хабу, тугой и прохладной на ощупь, а гриф из тёмного дерева блестел отполированным лаком, храня тепло чужих рук. Три тонкие струны были натянуты идеально. На корпусе виднелись мелкие царапины и едва заметная трещина у основания, но он был живым.

— Где вы его взяли? — Юрико подняла на Рена глаза, влажные от удивления.

— Инженерный батальон разбирает завалы богатого дома на юге Сюри, — Рен растерянно улыбнулся. — Он лежал в деревянном футляре под обломками крыши. Почти не пострадал. Я сразу подумал о вас. О вашей музыке.

Юрико посмотрела на инструмент:

— Мы можем отправить его в Симабуку. Детям. Мы ведь обещали им...

— Лагерь Симабуку расформировывают, — мягко перебил её Рен. — Людей уже развозят по распределительным пунктам ближе к их родным местам. За детей не волнуйтесь, ими занимаются гражданские власти. Я приехал сказать другое. Миссис Санчес из администрации просила передать: вы можете открыть школу прямо здесь. В Мавасиасато.

Воздух между ними, казалось, зазвенел от этих слов.

— Военная администрация поможет, — продолжал Рен, глядя на притихших девушек. — На следующей неделе вам привезут большой

брезентовый тент для занятий. С карандашами пока туго, но скоро на остров доставят новые учебники. На настоящем японском языке, без военной пропаганды. И ещё одно: если вы возьметесь за обучение детей, вам и вашим ученикам будут официально выделять армейские пайки. Сухое молоко, консервы, галеты. Вы больше не будете голодать.

Рен замолчал. Он достал из кармана небольшую плитку шоколада в фольге и протянул её Хинате, который стоял рядом, не сводя глаз с блестящего грифа сансина. Мальчик схватил шоколад, но вместо того, чтобы тут же впиться в него зубами, сначала аккуратно разломил плитку на части и протянул кусочки Юрико, Мико и Кохэку. Только после этого он положил свой кусочек в рот, зажмурившись от удовольствия.

Юрико повернулась к Мико. Им не нужны были долгие обсуждения. Они вспомнили свои угольные буквы на обрубке фанеры посреди лагерной палатки, вспомнили десятки пар детских глаз, смотревших на них из темноты. И они вспомнили косые взгляды соседей у колодца. Юрико поняла: школа — это их единственный способ ответить всей деревне. Единственный способ доказать своё право на жизнь — это начать собирать её из обломков для этих детей.

— Мы согласны, — сказала Мико. Глухой, спокойный звук её голоса словно закрепил это решение в рыжей окинавской земле.

Рен уехал, когда солнце окончательно зашло, оставив на небе длинную полосу остывающего золота. Джип скрылся за холмом, подняв тучу пыли, которая ещё долго висела в вечернем воздухе.

Вторая вещь, произошедшая тем вечером, была тихой.

Они не стали зажигать лампу сразу. Некоторое время они просто сидели на пороге и смотрели, как небо меняет цвет.

Потом, Кохэку все же зажгла керосиновую лампу под навесом.

Она сидела за грубо сколоченным столом, положив свою широкую, тёплую руку поверх маленькой ладошки Хинаты. На столе лежал чистый лист белой бумаги. Они рисовали. Грифель скользил по бумаге с приятным, сухим шуршанием. Пахло керосиновым угаром, свежей глиной стен и влажной ночной травой. Кохэку не учила мальчика, она просто выводила коричневым карандашом простые контуры: дом, дерево, солнце. Хината смотрел, прикусив губу от усердия, и повторял линии. Кохэку позволяла ему ошибаться, зная, что любая неровная линия — это тоже часть дороги.

— Это что такое? — спросила Кохэку, указав на неровный треугольник в углу листа.

— Горы, — ответил мальчик, не поднимая глаз. — Там, где осталась мама.

Кохэку ничего не сказала. Она просто положила ладонь на его вихрастую макушку и мягко погладила. Один раз. Хината не отстранился, он лишь крепче сжал карандаш, и его горы обросли мелкими зелёными штрихами деревьев.

Третья вещь случилась, когда Мико взяла новый сансин.

Она села на низкую каменную стенку прежнего фундамента и перебрала струны. Звук был совершенно иным. Не жестяным, не дребезжащим, а глубоким, округлым и тёплым. Каждая нота вытекала из деревянного корпуса и зависала в прохладном воздухе, растворяясь в запахе дыма. Мико заиграла старую крестьянскую песню «Тинсагэну хана» — песню о цветах бальзамина, которыми красят ногти, и о словах родителей, которые откладываются в сердце. Эту мелодию ей когда-то напевала бабушка.

В этой музыке не было слов, но в ней была вся их память. Хината перестал рисовать, подошёл к Мико и прислонился к её колену, слушая с открытым ртом испачканным армейским шоколадом. Юрико стояла в дверном проёме, глядя на них: на мать, на подругу, на мальчика. На их хрупкий мир, построенный из фанеры и пепла.

И именно тогда музыка оборвалась.

Мико резко замерла, прижав ладонь к струнам. С тропинки, ведущей от главной дороги, донёлся звук.

Шаг. Скрип. Глухой, тяжёлый удар по утрамбованной земле. Шаг. Скрип. Удар.

Ритм был нарушенным, неровным. Кто-то шёл к их освещённому дверному проёму с огромным усилием. Юрико медленно выпрямилась. Кохэку выронила карандаш, и он с сухим стуком покатился по столу.

Из тутовой темноты в жёлтый круг света от лампы шагнул человек.

Он был невероятно худым, измождённым до костей. На нём висела мешковатая, лишённая знаков различия японская военная рубаша и выцветшие брюки, от которых слабо пахло карболкой, застарелым потом и морской солью. Лицо его заросло жёсткой щетиной, а глаза казались огромными тёмными провалами на бледном лице. Он тяжело опирался на толстую бамбуковую трость.

Юрико посмотрела вниз. Из-под левой штанины виднелся обычный солдатский ботинок, покрытый слоем пыли. А из-под правой штанины в землю упирался грубо выструганный, стянутый железным кольцом деревянный конус протеза.

Он пришёл. Сам. Никто не привёз его на грузовике, никто не доставил на носилках. Он прошёл эти последние километры от побережья на своих двух ногах, одна из которых была из дерева. Он не стал ждать санитарных

транспортов в порту Нахи, а просто пошёл пешком, не надеясь на «попутку» — тридцать километров по разбитым дорогам, через поля, заваленные ржавым железом, мимо пустых пепелищ — обратно в Мавасиасато.

— Сома, — выдохнула Кохэку. Это был не крик, а тихий выдох, с которым из её груди вырвалась вся боль последних месяцев.

Брат поднял голову. Его потрескавшиеся губы дрогнули, попытались сложиться в извиняющуюся улыбку, но замерли. Он осмотрел кривой фасад их нового дома, Хинату с листом бумаги, Мико с затихшим сансином и, наконец, остановил взгляд на Юрико.

— Я немного задержался, — сказал Сома. Его голос скрипел, как пересохший бамбук на ветру. — Надеюсь, вы оставили мне немного риса.

Юрико сорвалась с места. Она пробежала до него в два шага, вцепилась в жёсткую ткань его рубахи и уткнулась лбом в грудь. Сома стоял неподвижно, как каменное изваяние, и его широкая ладонь легла ей на голову. Деревянный протез, стёсанный рукой госпитального мастера в Маниле, пах дешёвым лаком и свежей стружкой. Этот запах смешивался с родным теплом его тела, и Юрико только крепче сжимала пальцы на его спине.

— Ты пришёл... Ты дошёл, Сома, — шептала она.

— Дошёл, — повторил он тихо. — Протез к концу пути натёр кожу до крови. Но я обещал, что вернусь.

Мико подошла чуть позже. Она не стала плакать или бросаться на шею. Она просто протянула Соме руку и крепко, по-мужски пожала его ладонь. В этом коротком жесте было всё: признание его силы и молчаливое «добро пожаловать назад». Сома кивнул ей, а затем перевёл взгляд на маленького мальчика, который всё ещё прятался за спиной Мико.

— А это кто? — спросил он, кивнув на Хинату.

— Это Хината, — ответила Юрико, вытирая щёки тыльной стороной ладони. — Он наш. Он останется с нами.

Сома долго смотрел на ребёнка. Хината осторожно выглянул из-за юбки Мико и уставился на высокого, худого человека с бамбуковой палкой. Их глаза встретились: огромные, круглые детские глаза и усталые, обведённые тёмными кругами глаза солдата. Сома медленно, с трудом опустился на одно колено — на здоровое, левое колено — и оказался с мальчиком на одном уровне.

— Привет, — сказал Сома. — Я Сома. Старший брат Юрико. А ты кто?

— Я Хината... из леса...

— А я, из Манилы. Это очень далеко... Значит, мы оба вернулись издалека.

Мальчик протянул свою маленькую, испачканную карандашным грифелем руку и крепко пожал ладонь Сомы. В этом детском жесте не было церемоний. Это было мгновенное решение: ты свой.

Кохэку наконец поднялась из-за стола. Она подошла к сыну, взяла его лицо в свои широкие ладони, долго всматривалась в новые морщины у его глаз, а затем произнесла то единственное, что имело значение:

— Иди в дом. Рис уже готов.

И Сомы сделал шаг вперёд. Его деревянный протез твёрдо и весомо стукнул по фанерному порогу. Дом принял его. Стены зашуршали на ветру, жестяная крыша тихо звякнула, а лампа из консервной банки качнулась, разлив тёплый свет на их лица.

Мико вернулась к каменной стенке. Она снова взяла сансин и ударила по струнам.

Звук вырвался в октябрьскую ночь — глубокий, полный, абсолютно свободный. Ноты плыли над разрушенной деревней, над красной глиной грядок, над колючей проволокой и ржавыми остовами машин. Музыка летела дальше — к тёмным горам и к шумящему океану, туда, где другие люди на пепелищах тоже строили свои дома и слушали темноту.

Юрико сидела на пороге. Сомы устроился рядом, устало потирая травмированную культю. Кохэку сидела в дверях, баюкая засыпающего Хинату. Мико играла. И в этом простом, немыслимом собрании людей — четырёх Накаям, одной Нисиды и одного мальчика без фамилии — была музыка. Музыка тех, кто ещё не вернулся, и музыка тех, кто уже дома.

Юрико закрыла глаза и просто слушала ночь.

Глава 12. Жуки

Школа выросла на пустоши, где раньше стояла их настоящая — Первая. Женская. Средняя.

От прежнего здания не осталось ничего, кроме оплавленного, раскрошившегося куска кирпичного фундамента, наполовину ушедшего в сухую серо-бурую почву, и въевшегося в саму землю запаха — жжёной извести, горелого цемента и какого-то глухого, древнего тлена. Юрико чувствовала этот запах каждый раз, когда ставила босую ногу на обожжённый пяточок земли. Это был запах памяти, вещественный след того, что когда-то именовалось стенами, партами и классными досками. Прикосновение к этому месту заставляло её сердце сжиматься так же, как ноет старый, глубокий ушиб перед переменой погоды.

Американские солдаты помогли натянуть здесь огромный брезентовый тент цвета хаки, укрепив его на толстых бамбуковых жердях. Тент был старым,

потрёпанным, насквозь пропитанным машинным маслом, бензином и тем резким, горьковатым армейским составом, который въедается в ткань на годы и не выветривается ни одним океанским штормом. Днём под брезентом стоял удушливый, густой зной, пахнувший раскалённой парусиной и горячей пылью, но в дождливые дни эта грубая кровля защищала, а по ночам удерживала скудное тепло костра. Для деревни этот тент стал символом: крыша — это всё. Крыша — это школа. Крыша — это право на будущее.

Под тентом, на циновках, которые Кохэку сплела из дикого речного тростника, сидели дети.

Их было уже не тридцать, а почти пятьдесят. Они собирались со всех концов разрушенной округи — не только из Мавасиасато, но и из соседних деревень: Нисихары, Яэсе. Чумадые, босые, с оцарапанными коленями, в безразмерных рубахах из мешковины, они бережно зажимали в кулаках обломки древесного угля вместо карандашей. Они приходили на рассвете и оставались до сумерек. Юрико и Мико стояли перед ними, превращая хаос выжженного, разорванного войной острова в стройные, понятные ряды цифр и слогов.

Математика была спасительно честной и прямой. В ней не существовало полутонов и приказов штаба.

— Три пулемётные гильзы, — говорила Мико, держа на ладони тускло блестящие латунные цилиндры, найденные Хинатой у дороги. — И ещё две пулемётные гильзы. Сколько будет вместе?

— Пять! — слаженно выдыхал детский хор.

— Хорошо. А если из десяти гильз четыре заберут американцы, сколько останется?

— Шесть!

— Хината, не грызи гильзу.

— Я не грызу! Я проверяю, настоящая ли!

Под тентом раздавался звонкий детский хохот, топот босых ног и сухой, ритмичный шорох пятидесяти кусков угля по серому заокеанскому картону. Этот звук напоминал Юрико шелест первого, долгожданного осеннего дождя.

Грамматика возвращала изувеченным словам их первоначальный, мирный смысл. Вода. Дом. Рис. Солнце. Мать. Это были слова, которые война до краёв наполнила кровью, гарью и пещерным страхом. Вода, в которой тонули; дом, который сгорел дотла; рис, которого не было месяцами; солнце, которое безжалостно выжигало раненых на дорогах. Теперь дети бережно выводили иероглифы углём на картоне, словно заново отмывали эти понятия от налипшего пепла и хлорки. Обыденная нормальность возвращалась через кончики

детских пальцев. Юрико чувствовала, как в этом нелепом, абсурдном превращении военной пустоши в класс рождается маленький, но самый важный смысл её нынешней жизни — тот самый якорь, который удерживал её здесь и сейчас.

Брат Юрико, Сوما, приходил к школе каждый день после полудня.

Утром он работал дома. Его деревянный протез, стянутый тёмным железным кольцом, глухо и мерно вбивался во влажную землю огорода: тук... тук... тук. Кохэку, стоявшая на пороге, часто замирала, слушая этот тяжёлый шаг. На грядках сладкого батата Сوما оставлял глубокие круглые лунки рядом со следами босых ног матери. Он пропалывал землю, чинил прохудившуюся жестяную крышу их лачуги, таскал воду из колодца. Он делал всё молча, с той скупой, суровой сосредоточенностью, которая свойственна людям, разучившимся говорить о своей боли. Боль уходила в его руки, в напряжённую спину, в движения. От него пахло свежей кедровой стружкой, дешёвым табаком и плотным, осязаемым молчанием. Это молчание имело свой древесный, сырой запах — как запах доски, которую долго пилили, но так и не обработали, оставив края грубыми и незащищёнными.

После полудня Сوما появлялся у школьного тента. Он приносил с собой топор, пилу и молоток, раскладывал их на мешковине и принимался колотить скамейки и столы из распиленных снарядных ящиков. Его движения были точными, скупыми и пугающе механическими.

Сوما чувствовал себя неприкаянным призраком, которому по трагической ошибке вернули плотное, тяжёлое тело. Он был единственным взрослым мужчиной с деревянной ногой в этом хрупком мире женщин и детей. Иногда, сидя на перевернутом ящике из-под патронов и вытирая пот со лба грязным рукавом рубахи, он подолгу, неотрывно смотрел на сестру.

Он видел, как Юрико стоит перед детьми, и замечал то, что оставалось скрытым от других. Взгляд Юрико часто скользил мимо самодельной доски и картона — к Мико. Сوما видел, как этот взгляд задерживается на тонких, испачканных углём пальцах подруги, на её коротко остриженных волосах, на прямой, почти каменной спине, на том, как бледный свет брезента ложится на её скулу. В этом долгом, тихом созерцании брат читал абсолютную, звенящую привязанность, превосходившую обычную дружбу. Это был взгляд выжившего, который посреди бурлящего, разрушенного океана нашёл свой единственный, нерушимый якорь — одного конкретного человека, ради которого стоит продолжать дышать.

Сوما замечал это, молча брал в рот очередной гвоздь, поднимал молоток и продолжал колотить доски. Он ничего не спрашивал. Он знал, что война переплавляла и превратила в золу все прежние законы и приличия, оставив

людям только право цепляться друг за друга. Каждая сбитая им скамейка была его неммым способом сказать: «Я здесь. Я вижу. Я принимаю».

Когда же соседи или сами девочки пытались расспросить его о Филиппинах, о Маниле или о том, как именно он потерял ногу, Сомма мгновенно замыкался в себе. Его лицо каменело, превращаясь в непроницаемую маску, а взгляд уходил сквозь собеседника, упираясь в горизонт, где блёклое небо сливалось с океаном. Губы сжимались в тонкую белую линию. Филиппины были запертой, замурованной комнатой в его голове, а ключ от неё он давно выбросил на самое глубокое дно.

Октябрьский ветер шумно перебирал тяжёлые края брезента, когда в школу пришли двое.

Юрико стояла спиной к входу, выводя углём иероглиф «гора». Рука плавно вела три вертикальные линии, когда воздух за её спиной изменился. Плотность пространства дрогнула, словно между лопатками пробежала тонкая струйка ледяной воды. Она обернулась.

У входа в тент стояли две девушки. Юрико узнала их не сразу. Их лица осунулись до костяных линий, кожа приобрела нездоровый, землистый оттенок, а волосы были обрезаны неровными, рваными клоками — словно их кромсали осколками стекла или тупым ножом. Но на обеих были надеты выцветшие, покрытые грубой штоккой остатки школьных хакама. Ткань, которую Юрико знала до последнего узелка.

Сэйко и Усаги. Выжившие ученицы из отряда Химэюри.

Они подошли тихо, босые ноги почти не оставляли следов на сухой пыли. Юрико поспешно передала кусок угля старшей ученице, кивнула Мико, и они вчетвером отошли в сторону, под глубокую тень раскидистого, наполовину обгоревшего баньяна. Ствол дерева был чудовищным — в три обхвата, с чёрной, потрескавшейся корой, из расщелин которой сочился густой, тягучий белый сок, похожий на молоко. Под баньяном пахло гниющей древесины, мхом и тем специфическим, тревожным тленом, который исходит от выживших после пожара деревьев.

От самих девушек пахло сыростью и долгим, невыветриваемым страхом. Это был знакомый Юрико до боли запах пещер — кислый, с привкусом хлорной извести, застоявшейся подпочвенной воды и человеческого отчаяния.

— Мы узнали, что вы здесь, — тихо начала Усаги, не поднимая глаз и нервно закручивая край своей кофты в тугую спираль. Пальцы её дрожали, ногти были обкусаны до мяса. — Вы открыли школу. Это... это хорошо.

Слово «хорошо» повисло в вязком воздухе неловким, чужим предметом. Сэйко испуганно косилась в сторону Соммы, чей протез с глухим стуком упирался в землю, пока он ровнял очередную доску. Мико молча сложила руки на груди,

её сканирующий, медицинский взгляд мгновенно выхватил суть их визита: эти двое пришли сюда не ради школы и не ради простых расспросов.

— Что случилось? — ровно, без эмоций спросила Мико.

Сэйко громко, судорожно сглотнула, словно слово застряло у неё в горле. Её пальцы впились в ткань кофты так сильно, что побелели костяшки.

— Учитель, — выдохнула она, и это короткое слово упало на красную глину тяжёлым, ледяным камнем. — Минато Кобаяси. Он вернулся.

Юрико показалось, что из-под её ног ушла опора. От затылка до копчика пробежала сухая электрическая волна, сковавшая мышцы. Пещера Ихамигама. Тяжёлая, прохладная керамическая граната в ладони. Запах карболки, гниющего мяса. Безумный, лихорадочный блеск круглых очков в тусклом свете керосиновой лампы. Голос, кричащий: «Вы — дочери Императора! Вы должны умереть с честью!»

— Мы знаем, что он жив, — голос Мико оставался внешне спокойным, но Юрико видела, как плотно сжались её челюсти, а на скуле заходила упрямая жилка. — Нам сообщили из Красного Креста ещё в лагере. Он был в госпитале, раненый.

— Он больше не в госпитале, — покачала головой Усаги, и в её тёмных глазах отразилась липкая, непроходящая, чисто детская паника. — Его выписали. И он живёт совсем близко. В деревне за холмом, у своей сестры — той, что вышла замуж за фермера из Нагато. Мы видели его вчера у колодца.

Белые капли сока баньяна медленно, тяжело падали на землю у их ног, оставляя на бурой земле круглые отметины, похожие на бледные слепые звёзды.

— Он сильно опирается на палку, — торопливо, срываясь, продолжала Усаги, словно спешила избавиться от этой информации, как от яда. — У него ужасные шрамы на лице. Один огромный — от самого лба через всю правую щеку до подбородка. И левая рука... она совсем не двигается, он носит её на перевязи из грязного полотна. Но это точно он. Мы узнали его по очкам. Он всё ещё носит те самые круглые очки. Только одно стекло... оно треснуло крест-накрест.

Круглые очки. Треснутое стекло. Девушки замолчали. Рассказав это, они словно переложили неподъёмный, удушливый груз на плечи Юрико и Мико и теперь испуганно ждали их реакции. Но ответа не было. В этом молчании висели все произнесённые вопросы: что теперь делать? Как жить рядом с человеком, который отправил их на смерть, а сам выжил, спасённый американскими врачами? Можно ли это простить?

— Спасибо, — сухо оборвала тишину Мико. Без осуждения, без эмоций. Просто зафиксировала факт.

Поговорив ещё немного о незначительных вещах — о выдаче пайкового риса и о новом колодце на севере, — Сэйко и Усаги ушли. Они растворились в вечернем мареве так же тихо и незаметно, как появились, оставив после себя лишь слабый, кислый запах этого пещерного страха.

Юрико и Мико возвращались домой в густых, синих сумерках.

Они шли молча, плечо к плечу, босыми ногами по остывающей глине, которая ещё хранила дневной жар. Воздух наполнялся дымом от соседских очагов — мирным, серым дымом варящегося батата. Остров словно делал медленный, мучительный выдох после долгого вдоха. Мико шла с непроницаемым лицом, и Юрико знала: её подруга сейчас мысленно чертит линии, выстраивает план, решает, что делать с этой новостью. Юрико не торопила её. Она ждала, пока Мико заговорит сама, когда её внутренний план будет окончательно готов.

Дом встретил их мягким, подрагивающим светом керосиновой лампы. Фанерные стены, собранные из американских ящиков, тихо поскрипывали на ветру, напоминая шуршание старой бумажной ширмы. Кохэку стояла у стола, её широкие, мозолистые руки ловко перебирали влажные клубни батата.

— А где Хината? — Юрико сразу бросила взгляд на пустой, тёмный угол, где лежал матрас из-под сахарных мешков. Когда мальчика не было дома, мир казался надломанным.

Кохэку вытерла ладони о холщовый передник и кивнула в сторону темноты за порогом.

— Куда-то убежал, — спокойно ответила мать. — Ещё до того, как солнце село.

— Он хоть поел после занятий? — нахмурилась Мико, заглядывая в жестяной котелок.

— Поел немного, пару ложек. Потом покопался в своём мешке, взял несколько армейских галет и исчез. Я кричала ему, просила не ходить близко к лесу, но нашего штурмана разве удержишь? Он как ветер.

Юрико шагнула к порогу и вгляделась в чернеющие джунгли. Лес дышал своей огромной, глухой, шуршащей жизнью, тикал миллионами насекомых. Мальчик, выросший в чаще, снова ушёл туда, где чувствовал себя хозяином. Тревоги не было — Хината знал эти заросли лучше любого картографа. Он вернётся. Он всегда возвращался.

— Ешьте, — тихо сказала Кохэку, выставляя на стол дымящийся батат. — Потом поговорим.

Они ели в полном молчании. Жевать и глотать горячую, пахнущую землёй пищу означало утверждать своё присутствие в этом мире. Это была простая,

осязаемая грань нормальности: стол, мать, лампа, еда. Юрико чувствовала, как с каждым глотком удушливое оцепенение, принесённое вестью о Кобаяси, немного отступает.

Ночью влажный океанский ветер внезапно сменился иссушающим, плотным жаром.

Юрико лежала на циновке между Мико и Хинатой, который вернулся так же незаметно, как возвращается дикая кошка, принеся на своей одежде запах примятой мокрой травы и лесных ягод. Юрико лежала с закрытыми глазами, но сон не шёл. Её тело словно предчувствовало резкое падение давления перед тайфуном. Два бледных шрама на её левой ладони, давно похожие на зажившие лепестки белой лилии, вдруг налились свинцовой, ноющей тяжестью. Они пульсировали в такт какому-то чужому, древнему, яростному сердцу.

Тамар вернулась мгновенно, без предупреждения.

Пространство изменилось с одним глубоким вздохом. Юрико больше не чувствовала фанерных стен — её сознание оказалось заперто в чужом, высоком, пересушенном зноем теле. В горле осел горький, порошкообразный привкус старой соли и выжженной кости, от которого мгновенно потрескались губы.

Она стояла на самом краю гигантского, отвесного обрыва. Камень под её босыми ногами был раскалён добела, от него исходил сухой, минеральный жар. Воздух вокруг был жёлтым, мутным от поднятой пыли, а солнце над головой казалось огромным медным диском, пахнущим казнью и раскалённым железом. Внизу под скалой зияла мёртвая, голая серая долина, в которой не было ни единой травинки.

И в этой долине копошились жуки.

Они вернулись. Их были тысячи, десятки тысяч — бронзовых, безликих, ослепительно сверкающих под безжалостными лучами. Юрико видела их глазами Тамар и задыхалась от ужаса перед их пугающей, механической, нечеловеческой правильностью. Они не кричали, не суеились. Они двигались как элементы единого колоссального механизма, образуя безупречные линии и плотные квадраты. Щит к щиту, чешуя к чешуе — они казались сплошным хитиновым панцирем гигантской многоножки, перемалывающей известняк.

Жуки строили. В серой долине рос чудовищный, неестественный каменный язык. Они таскали огромные брёвна, мешки с землёй, щебень и валуны, насыпая гигантскую эстакаду. Насыпь медленно, неумолимо, — как ползёт вода, как ползёт лава, как ползёт время, — день за днём поднималась вверх, вгрызаясь в бок их неприступной скалы. Стук дерева, железный лязг и глухой, утробный гул миллионов ног сливались в один вибрирующий гул, от которого камень под ногами Тамар мелко и непрерывно дрожал.

Жуки не торопились. Они знали, что время принадлежит им. Они строили дорогу к небу, чтобы подняться на вершину и сожрать всех, кто там укрылся. Спасения не было.

Внезапно жёлтое небо над долиной с сухим треском раскололось по невидимому шву. Сквозь эту трещину хлынул неестественный, слепящий белый свет — острый, кристаллический свет. В вышине зависли два пульсирующих, звенящих белых огня. От их нечеловеческого сияния тени на скале упали в обратную сторону, а шрамы-полумесяцы на ладони обожгло малиновым, багровым огнём. Жуки внизу на мгновение замерли, как заклинившие шестерёнки, но затем с новой силой возобновили свой костяной скрежет.

Этот железный лязг поднимался всё выше, заполняя уши, выдавливая воздух из лёгких. Он странным, жутким образом сливался в сознании Юрико со вчерашними словами Усаги: «Он опирается на палку, у него шрамы на лице, но это он». Прошрое строило свою насыпь. Имя Кобаяси росло, как эта каменная эстакада.

Тамар в ужасе повернулась и побежала вглубь крепости, к отцу, крича о надвигающемся конце, но её крик был полностью поглощён глухим, утробным рокотом тысяч идущих внизу ног.

Резкий, пронзительный крик ночной птицы разорвал морок, словно сорвал присохший бинт с открытой раны.

Юрико открыла глаза.

Бледный, жемчужный утренний свет едва пробивался сквозь щели фанерных стен. В комнате пахло остывшей золой, сыростью и варёным бататом. Рядом глубоко и ровно дышала Мико. Чуть поодаль, свернувшись калачиком на сахарных мешках, спал Хината — он вернулся под утро, принеся с собой запах влажной травы.

Юрико села на циновке. Её тело было мокрым от холодного, липкого пота, пахнущего железом. Лязг бронзовых жуков всё ещё отдавался в её ушах, смешиваясь с реальностью. Насыпь из прошлого продолжала расти. Юрико посмотрела на свою левую ладонь: полумесяцы медленно гасли, превращаясь в бледные отметины. В этот момент к ней пришло абсолютное, кристально чистое знание. Прошрое не уйдёт само. Оно строит дорогу. И если сидеть на вершине своей фанерной лачуги и просто ждать, это прошрое поднимется, перешагнёт через порог и сожрёт их заживо. Их единственная возможность спастись — встретить его лицом к лицу.

Оцепенение ночи исчезло. Страх уступил место глухому, твёрдому решению.

Мико зашевелилась, открыла свои ясные, тёмные глаза и вопросительно посмотрела на подругу. Утренний свет мягко обрисовал её спокойное лицо.

— Мы сходим к нему, — тихо произнесла Юрико. Но так твёрдо, что звук её голоса заставил пространство дома замереть.

Мико медленно приподнялась на локте, привычным жестом смахивая короткую прядь волос со лба. Она всматривалась в лицо подруги долго и внимательно. В её взгляде не было ни тени сомнения или страха — только мгновенное, безусловное согласие. Её тело, её собственная память о пещерном аду помнили то же самое.

— К кому? — спросила Мико. Ей нужно было, чтобы это имя произнесли вслух, здесь, в их утреннем доме, чтобы кошмар окончательно обрёл плоть и превратился в цель.

Юрико опустила руку на циновку и уверенно произнесла:

— К учителю. К сэнсэю Кобаяси.

Глава 13. Вкус травы

Воскресенье пришло не по календарю, а по запаху.

Ещё в субботу вечером Кохэку затопила очаг непривычно рано, и дым от сосновых дров — сухих, чистых, принесённых Хинатой не из снарядных ящиков, а из уцелевшей рощи за дальним холмом, — повис над полуразрушенным Мавасиасато тонкой, пряной, почти праздничной нитью. От этого дыма пахло прежним, довоенным миром: незыблемым домом, надёжной крышей, общим ужином и законным воскресным отдыхом. Кохэку жарила на плоском раскалённом камне толстые оладьи из рисовой муки, разведённой солоноватой колодезной водой. От них шёл густой, сладковатый, обволакивающий дух, от которого у Юрико непроизвольно, помимо её воли, расслаблялись плечи. Оладьи выходили неровными, подрумяненными с одного бока и бледными с другого, и от них поднимался пар, пахнущий домашним теплом материнских рук.

Они ели вчетвером: мать, дочь, сын и мальчик без фамилии. Мико сидела рядом, отламывая крошечные кусочки от горячего теста и пережёвывая их медленно, с сосредоточенностью человека, который слишком долго привыкал к мысли, что каждый кусок может стать последним. Хината не жевал — он запихивал оладьи за обе щёки, пачкаясь рисовым тестом и облизывая пальцы с таким блаженным, почти звериным удовольствием, что Сوما, глядевший на него через стол, невольно хмыкнул.

— Хината, — тихо сказала Юрико, провожая глазами уходящее за фанерную стену солнце. — Завтра воскресенье. Мы с Мико пойдём в соседнюю деревню. Хочешь с нами?

Мальчик поднял голову, покрытую золотистой крошкой, и энергично затряс тёмным вихром:

— Нет! Я хочу погулять. В лес. Там ягоды дикого пандануса ещё есть, я видел вчера у ручья.

— Близо к чаше не ходи, — нахмурилась Кохэку, вытирая руки о передник. — Там полно неразорвавшихся железок в траве.

— Я знаю, знаю! Я же ходил сто раз! — Хината вытер рот рукавом и ловко съехал со скамейки.

Воскресное утро выдалось густым и прозрачным, как застывший сок вишнёвого дерева. Октябрь окончательно вступал в свои права, по капле выстужая ночную влагу из ржавой окинавской земли. Воздух над деревней пах свежей древесной стружкой, сохнувшими на солнце водорослями и крепким, солоноватым океанским ветром.

Сома сидел на перевёрнутом патронном ящике у самого входа в их лачугу и методично, с сухим, натужным скрипом, приматывал новый кожаный ремешок к своему деревянному протезу, стянутому железным кольцом. Он собирался в Наху, на чёрный рынок Макиси. Это было место, выросшее прямо из жидкой грязи и человеческого отчаяния на пустыре у разрушенного порта: колоссальный, кричащий лабиринт из гнилых досок, брезентовых тентов и ржавого американского железа. Там за сигареты с верблюдом, пайковый рис или найденные в руинах медные провода можно было выменять всё на свете — от мотка ниток до куска мыла или самодельных сёги, выточенных из снарядных гильз. Макиси пульсировал, кричал на десятке диалектов, не спрашивал документов и насквозь пропитался запахами жареной рыбы, пороха, дешёвого табака и человеческого пота. Соме были нужны нитки и гвозди — крыша дома снова начала подтекать.

Брат затянул узел на ремне, выпрямился, опираясь на свою бамбуковую трость, и посмотрел на Хинату. Мальчик крутился у каменного колодца, воровато выискивая что-то в мокрой траве возле своего мешка из-под сахара, где хранил нехитрые сокровища: обточенное волнами зелёное стекло, гальку и стреляные гильзы.

— Слушай, штурман, — позвал Сома, пристукивая деревянной ногой. — Не хочешь пойти со мной на Макиси? Там сейчас людно. Американские интенданты привезли сгущёнку, а китайские контрабандисты продают сладкие лепёшки. Поможешь мне нести мешок, а я тебе что-нибудь выменяю.

Хината замер, его босые ноги по щиколотку утопали в холодной росе. Он посмотрел на высокую, сутулую фигуру старшего брата Юрико, затем на свой собственный холщовый узелок.

— Нет, спасибо, господин Сома, — ответил мальчик и сделал быстрый шаг назад, словно опасаясь, что его удержат силой. — Я не хочу на рынок. Я хочу в лес.

Он суетливо отвернулся, запустил руку глубоко в мешок, выудил оттуда какой-то светлый, плотный предмет, торопливо затолкал его себе за пазуху, под рубаху на трёх пуговицах, и бросился бежать к зарослям пандануса. Его фигурка мелькнула среди широких, пилообразных зелёных листьев и бесследно растворилась в чаще.

Сома нахмурился. Его взгляд проводил мальчика и медленно вернулся к раскрытому сахарному мешку в углу. Он помолчал, затем ткнул туда тупым концом топора, раздвинул край холстины и тяжело вздохнул, обращаясь к Юрико, которая как раз выходила на порог, поправляя воротник выстиранного комбинезона.

— Он зачем-то взял бинт, — сказал Сوما, указывая топорищем в сторону леса. — Настоящий медицинский бинт. Из тех чистых запасов, что сержант Кимура привёз для школы. Я видел белый марлевый край. Зачем ему рулон стерильной марли в лесу?

Юрико подошла и заглянула в мешок. Место, где лежал бинт, действительно пустовало. Она встревоженно посмотрела на стену джунглей, живших своей огромной, шуршащей жизнью.

— Наверное, играет в разбойников или в госпиталь, — спокойно ответила Мико, появляясь следом. Её медицинский взгляд был ровным. — Дети сейчас лечат деревья или перевязывают раненых жуков. Пусть гуляет. Хината знает этот остров лучше, чем военные картографы. Он всегда возвращается.

Юрико помедлила, но кивнула. Для них обеих сегодня существовало только одно направление. Одно имя, которое нужно было перешагнуть, чтобы двигаться дальше.

— Ладно, — сказала Юрико. — Пусть идёт.

Сома забросил на плечо пустой мешок, в котором лежали несколько плетёных корзин Кохэку и связка сушёного батата для обмена. Его шаги — тук... тук... тук — медленно стихли в утренней тишине, оставляя на мягкой глине круглые лунки рядом с отпечатками человеческих пальцев.

Юрико и Мико встретились с Сэйко на развилке двух грунтовых дорог на самом рассвете. Усаги так и не решилась прийти — страх оказался сильнее. Сэйко стояла одна, худая, с ввалившимися, землистыми щеками, переминаясь с ноги на ногу в дорожной пыли. Её глаза прятались в тени отросшей неровной чёлки, и от её одежды всё ещё неуловимо, подспудно пахло той самой пещерной сыростью, которую не могло выжечь ни одно солнце.

Путь в соседнюю деревню Нагато лежал через пологую долину, которая помнила слишком многое. Это было настоящее путешествие сквозь призраков — не метафорических, а вещественных, осязаемых призраков разрушенного мира. Сухая трава цеплялась за их лодыжки, словно чьи-то невидимые пальцы

просили остановиться. Воздух казался плотным, деформированным от невыносимой тяжести непрожитых жизней. Вот каменная стена бывшего храма, наполовину обрушившаяся, но всё ещё державшая выцветшую деревянную табличку с именем божества, которое никого не спасло. Вот перевёрнутый, искорёженный кузов японского армейского грузовика, наполовину вросший в красную почву, из ржавых боков которого тянулись сочные, ярко-зелёные лианы дикого винограда. Остров продолжал пожирать войну — быстро, жадно, методично, превращая сталь и бетон в удобрение для своих корней.

Тени от обгоревших стволов пала на землю неправильно, пересекаясь под невозможными углами, а в сухом стрёкоте цикад Юрико чудился металлический перестук ружейных затворов. Земля дышала мёртвыми. На обочине, у ручья, они прошли мимо бетонной водопропускной трубы. Внутри неё, в прохладной тени, виднелась куча белых камней, сложенных аккуратной пирамидкой, а сверху лежали мелкие, поблёкшие лоскутки разноцветной девичьей одежды. Кто-то собрал здесь то немного, что осталось от погибших. Сэйко прошла мимо, не глядя, но Юрико остановилась на секунду и почувствовала, как её руки инстинктивно сжались в кулаки. Левая ладонь, хранившая шрамы-полумесяцы, отозвалась едва заметным теплом. То была не ярость Тамар — то была глубокая, древняя солидарность с землёй, помнящей каждого.

— Кто ещё остался? — тихо спросила Юрико, нарушая затянувшееся молчание. — Из нашего отряда? Из параллельных классов?

Сэйко долго шла молча, её босые ноги бесшумно ступали по траве. Сэйко не умела разговаривать длинными предложениями — за эти месяцы в пещерах и лагерях она разучилась связывать слова в нити, и теперь её речь состояла из коротких, твёрдых, рубленых фрагментов, словно она отбивала куски от замёрзшего каменного блока, или как перестук колёс поезда, который всё время проваливается между рельсами.

— Я точно не знаю, — бесцветно ответила она. — Но говорят, есть выжившие из Женского отделения Педагогической школы. Из отряда «Сираюри» — Белой лилии. Их тоже бросили в пещерных госпиталях у скал Мабуни, когда отменили мобилизацию. Они выходили наружу только по ночам, пили воду из луж, смешанную с кровью и известью. Те, кто не спрыгнул со скалы в море, сейчас в лагерях на севере. Нас осталось очень мало, Юрико. Так мало. Только лица. И запах.

— Какой запах? — спросила Мико, шедшая впереди. Её спина была прямой, как натянутая струна, она словно разрежала этот призрачный воздух своим движением.

— Как у нас, — тихо обронила Сэйко. — Тот самый пещерный запах. Хлорка, застоявшаяся вода и отчаяние. Мы по нему узнаём друг друга. Как по клейму.

За холмом дорога спустилась в долину. Деревня Нагато пострадала чуть меньше: здесь у колодца стояла женщина с вёдрами, а из разбитых окон доносился стук молотка. Лачуги из ржавого железа соседствовали с уцелевшими каменными постройками. Сэйко остановилась у последнего дома на краю, над дверью которого висел высушенный пучок полыни, источавший горький, земной аромат. Тот самый запах, что являлся Юрико в её древних, чужих снах.

— Здесь, — выдохнула Сэйко, её пальцы снова судорожно затеребили край кофты. — Я... я не могу. Я подожду вас у развилки, в кустах.

У неё хватило сил привести их сюда, но посмотреть в лицо человеку, пославшему её на смерть, она была не в состоянии. Юрико понимающе кивнула, и Сэйко быстро пошла обратно по тропе, растворяясь в зелени, как растворяется тень.

Юрико и Мико подошли к порогу. Пахло кипятком, сушёными травами и старой, вековой соломой татами. Дверь открыла женщина — неправдоподобно маленькая, сухая и быстрая, как полевая мышь. Её лицо было круглым, покрытым глубокими морщинами у губ, но живые глаза светились тёплым, домашним светом. На ней было чистое, аккуратно залатанное хлопковое платье, а от её рук пахло лемонграссом и тысячелистником. Хиса. Сестра их учителя.

— Вы к нему? — спросила она без удивления или осуждения. Лишь старая, выношенная усталость звучала в её гортанном окинавском выговоре.

— Мы из Химэюри, — ровно ответила Мико. — Из Первого женского отделения. Пришли провести сэнсэя Кобаяси.

Хиса моргнула, отступила на шаг и распахнула дверь шире:

— Заходите. Я сейчас принесу чай.

Внутри дом был тёмным и прохладным. Земляной пол покрывали тонкие тростниковые циновки. В углу стояла низкая кровать, а рядом — перевёрнутый ящик, на котором лежали две обёрнутые в тряпицу книги и круглые очки в потемневшей металлической оправе.

Минато Кобаяси сидел на циновке у дальней стены, спиной к свету. Юрико замерла, её сердце пропустило удар. В первую секунду она не узнала его. Человек из пещеры Ихамигама, чей голос вибрировал фанатичной сталью, исчез. Перед ними сидел ссутулившийся, страшно высохший человек в чистой, но блёклой юкате. Его правая щека, от самого виска через надбровную дугу до подбородка, была изуродована багрово-розовым, узловатым шрамом, который грубо деформировал уголок рта, стягивая кожу в гляцевую складку. Левая рука

плотно прижималась к груди, неподвижная, парализованная, поддерживаемая белой холщовой перевязью. Кобаяси казался меньше ростом, словно из сломанного механизма вынули главную пружину.

Услышав их шаги, его тело мгновенно окаменело. Плечи напряглись, подбородок судорожно прижался к груди. Он знал, кто вошёл. Его здоровая правая рука медленно, непослушными пальцами потянулась к лежащим на ящике очкам. Он надел их. Круглые линзы. Правое стекло было пересечено глубокой трещиной крест-накрест.

Сквозь эту трещину он посмотрел на них. На Юрико. На Мико. На своих живых учениц, стоявших перед ним в грубых американских комбинезонах с парашютными швами.

— Сэнсэй, — начала Юрико, и её голос предательски сорвался на шёпот. — Мы пришли узнать... как вы. Может быть, вам нужна какая-то помощь. Мы рядом, в Мавасиасато.

В комнате повисла тишина такой плотности, что было слышно, как гудит пламя в керосиновой лампе. Кобаяси смотрел на них секунду, две, три. А затем он медленно, дрожащими пальцами снял очки. Аккуратно сложил дужки, положил их на колени и опустил глаза в земляной пол.

Он не произнёс ни единого слова.

Но в этой немоте не было ни покоя, ни смирения. Юрико почувствовала это так же отчётливо, как сухой, кисловатый запах его тела — это была звенящая, глухая, раскалённая ярость. Но злился он не на девочек. Эта ярость была направлена внутрь, на самого себя. Она пожирала его, как кислота. Он сидел перед ученицами, которым собственноручно раздавал цианид и глиняные гранаты... А затем пришли американские санитары, вкололи ему морфий, зашили разорванную грудь и оставили жить в мире, где Император сдался, а его «опавшие лепестки» топчут землю босыми ногами. Стыд и вина были настолько огромными, что для них просто не существовало звуков. Любое слово сейчас стало бы фальшью. Он сгорал изнутри, как глубокий, тлеющий уголь, и пепел этого пожара душил его.

Хиса засуетилась, её движения стали торопливыми, словно она пыталась заполнить эту страшную пустоту звоном посуды. Она внесла грубый керамический чайник и расставила на низком столике кривые чашки без ручек.

— Пожалуйста, выпейте чаю, — тихо сказала она, обращаясь к посуде, а не к гостям. — Это цветы гибискуса, дикая мята и корень одуванчика. Мы с Минато сами их собираем на склонах, где не было обстрелов. Война не смогла убить травы. Он... он почти всегда молчит в последнее время. По ночам разговаривает с кем-то, кого нет, просит прощения, кричит. Но днём молчит.

Зато по хозяйству помогает. Правой рукой чинит забор, плетёт верёвки. Выпейте, он горячий.

Чай пах землёй, выжженным лесом и сладковатой горечью ушедшего лета. Юрико обхватила чашку обеими ладонями. Глина была тёплой, шершавой. Она сделала глоток — горячая жидкость обожгла горло, оставляя вкус пыльцы и мяты. Хиса села рядом с братом и просто положила свою маленькую мозолистую ладонь ему на здоровое колено, как оставляют маяк на берегу.

Мико сидела с безупречно прямой спиной:

— Мы открыли школу, сэнсэй. В тенте, на месте старого фундамента. У нас уже пятьдесят учеников. Мы учим их читать и считать. У нас есть картон и уголь.

Юрико заметила, как правая рука Кобаяси мёртвой хваткой сжалась вокруг деревянной трости, прислонённой к стене. Костяшки пальцев побелели до плоских пятен. Угол его рта, у которого обрывался багровый рубец, судорожно дрогнул. Он слышал всё. Каждое слово входило в него, как тонкий штык. Юрико хотела сказать, что они не держат зла, что они не пришли судить, но поняла: сейчас любое прощение упадёт на него новым ударом. Он нуждался в их молчании.

Монстр из пещеры оказался просто изломанным, несчастным человеком, запертым в тюрьме собственного выживания. Страх, который мучил Юрико по ночам, рассыпался, оставив после себя лишь горькое, сухое чувство жалости. Насыпь в её снах была разрушена. Прошное больше не имело над ней власти — оно осталось здесь, в полутёмной комнате, сидеть на циновке с разбитыми очками на коленях.

Они не задерживались долго. Допив чай, они вежливо поклонились и направились к выходу. Кобаяси даже не шевельнулся, но его пальцы на трости наконец медленно, с усилием расслабились.

Хиса проводила их до калитки. На пороге она помедлила, затем достала из кармана передника маленький бумажный свёрток и протянула Юрико:

— Это вашей маме от нас. Скажите, что от нас. Травы для чая. Ему будет приятно. Он не скажет, — но будет.

Юрико взяла свёрток, под пальцами захрустели сухие листья.

— Спасибо, — тихо сказала она. Хиса кивнула и закрыла дверь.

Обратный путь был иным. Солнце стояло в зените, безжалостно выжигая тени и растворяя призраков долины. Они шли молча, почва раскалилась, и босые подошвы утопали в мягком, горячем, как тесто, грунте. Глина под ногами больше не казалась чужой. Она была просто горячей землёй, которая держала их.

Сэйко ждала их у развилки. Она не спросила, что произошло, просто молча пошла рядом. Три девушки в странной одежде из перешитых комбинезонов и старых кимоно двигались по дороге, как три тёмных силуэта, от которых всё ещё пахло невыветриваемым военным прошлым. На перекрёстке у своего дома Сэйко тихо попрощалась и скрылась за кустами.

Когда солнце уже клонилось к западу, впереди показались жестяные и брезентовые крыши Мавасиасато. Хината бегал по пустырю перед их домом, размахивая длинной палкой, как мечом, и громко кричал.

«Бинт. Зачем он взял медицинский бинт?» Мысль мелькнула в голове Юрико, но тут же растаяла в вечерней прохладе.

Сома уже вернулся с рынка, из его мешка виднелся пучок медной проволоки и немного риса. Он сидел на пороге, методично вбивая гвозди в свежее дерево, и этот ритмичный звук топора действовал успокаивающе. Юрико зашла в дом и молча положила свёрток с травами на стол. Кохэку вопросительно посмотрела на дочь, но Юрико лишь покачала головой: потом.

Вечером, когда Хината заснул, свернувшись калачиком на своих сахарных мешках, а в доме затихли все звуки, Мико и Юрико вышли наружу и сели на низкую каменную стенку фундамента.

Ночь стояла прозрачная и звёздная. Окинавское небо не имело ничего общего с японским: оно казалось глубже, ближе и тяжелее от созвездий. Они выглядели огромными, неправдоподобно яркими, словно кто-то рассыпал по чёрному бархату горсть раскалённых, пульсирующих углей. Воздух пах остывающей глиной, дымом соседских очагов и далёким, едва различимым дыханием океана.

Мико долго молчала, вглядываясь в эту бездонную синеву. Наконец она заговорила, и её голос прозвучал неожиданно громко, чётко, с непреложной металлической решимостью:

— Юрико.

— Да.

— Мы должны их помнить, — слова Мико падали в ночную прохладу, как камни в прозрачную воду. — Всех погибших. наших девочек из Химэюри. Из Первой средней. Из Педагогической школы. Всех, кто остался в темноте пещер, кого завалило в госпиталях, кто прыгнул со скал. Мы не имеем права просто выжить и забыть. Мы должны почтить их память. Сделать так, чтобы их имена не превратились в прах, как этот остров.

Юрико смотрела на её профиль — острый, тонкий, словно высеченный из тёмного камня в колеблющемся свете звёзд.

— Как мы это сделаем? — тихо спросила она.

— Я пока не знаю, — ответила Мико, глубоко вдыхая запах моря. — Но мы найдём способ. Может быть, это будет камень. Или дерево. Или просто имена, написанные на чём-то прочном. Чтобы люди, которые пойдут по этой земле после нас, знали: здесь лежали девочки... Они заслуживают того, чтобы их помнили.

Мико замолчала. Юрико ничего не ответила, потому что слова здесь были больше не нужны. Она просто опустила свою левую ладонь на холодный камень фундамента между ними — открыто, ладонью вверх. Шрамы-лепестки на её коже были тихими и спокойными. В этом жесте кожа говорила то, что язык выразить не мог: да. Мы не забудем.

Мико повернулась и накрыла ладонь Юрико своей рукой. Крепко, надёжно. И на этот раз она не отпустила её руку до самого утра.

Глава 14. Мальчик

Странности начались во вторник, когда густой запах свежеструганной древесины, непрерывно исходивший от школьного тента, внезапно смешался с острым, ржавым, металлическим духом надвигающегося океанского шквала.

Это случилось в самый разгар полуденного занятия — в тот момент, когда Мико, стоявшая перед сорока парами выжидающих детских глаз, объясняла разницу между числами «двенадцать» и «двадцать». Вместо счётов она использовала латунные пулемётные гильзы, с сухим звоном выкладывая их ровным рядом на перевёрнутом американском снаряжном ящике. Звук детских голосов заполнял брезентовый тент, как тёплая, стоячая вода заполняет терракотовую чашу: то был монотонный, убаюкивающий шорох коллективного счёта, шёпот букв и скрип угольных палочек по серому упаковочному картону. Солнце безжалостно продавливало парусину сверху, превращая тент в раскалённую, душную, тяжело дышащую мембрану, и от нагретых полотнищ тянуло старым, горьковатым запахом машинного масла, который въелся в волокна ткани за годы войны.

Юрико заметила пропажу не сразу. Она стояла у самого края тента, помогая самым маленьким ученикам выводить углём иероглиф «вода» — три волнистые вертикальные линии, простые и естественные, как само дыхание. В какой-то момент она почувствовала, что пространство в третьем ряду, у крайнего бамбукового столба, странно опустело. Обычно Хината, как самопровозглашённый староста, сидел там с самым важным видом, а после уроков помогал собирать гильзы обратно в мешок. Теперь же на смятой циновке, ещё хранившей тепло его худенького тела, лежал лишь обломок древесного угля да огрызок карандаша. Самого Хинаты не было. Он выскользнул бесшумно, словно растворился в горячем воздухе.

Юрико обернулась к Мико. Их глаза встретились на полпути — этот короткий, немой, мгновенный сигнал они научились ловить за месяцы совместной жизни в пещерах. Мико чуть заметно, едва уловимо качнула головой: не сейчас. Не перед детьми. Потом.

Но когда на следующий день, в среду, история повторилась, лёгкая и прозрачная, как утренняя паутина, тревога к вечеру превратилась в липкий, осязаемый, холодный ком в самом низу живота. Джунгли, подступавшие к разрушенному Мавасиасато вплотную, не были местом для детских прогулок. Остров всё ещё был смертельно опасен: заросли дышали скрытой угрозой — неразорвавшимися минами в густой траве, ржавыми артиллерийскими снарядами, ядовитыми змеями и бродячими, обезумевшими от голода собаками.

— Надо с ним поговорить, — жёстко сказала Мико, отмывая руки от угольной пыли у каменного колодца, когда солнце коснулось верхушек холмов. Её голос звучал сухо и ровно, как щелчок хирургических ножниц. — Без увиливаний. Начистоту.

Юрико молча кивнула, глядя на темнеющую, затихающую кромку леса.

Они ждали его вчетвером. Кохэку принципиально не зажигала керосиновую лампу, и фанерный дом до самого потолка был заполнен густыми, фиолетовыми, зыбкими тенями октябрьского вечера. В очаге медленно, с едва слышным шипением остывал печёный батат, наполняя комнату сладковатым, густым, домашним ароматом, который сейчас казался почти издёвкой над их напряжённым, звенящим ожиданием. Сом сидел у порога, его деревянный протез, стянутый железным обручем, неподвижно упирался в утопанный земляной пол. Он методично, с едва заметным шорохом точил тесак о брусок, не поднимая глаз. Мико и Юрико замерли на низких скамейках. Тишина в лачуге стояла такой плотности, что казалось, можно было услышать, как по старым стропилам ползёт одинокий древесный муравей.

Хината появился, когда на чернильном небе уже проступили первые, острые и холодные, как иглы, звёзды, а деревня окончательно налилась густым синим сумраком.

Мальчик вошёл боком, стараясь казаться незаметным, буквально втираясь спиной в дверной косяк. В руках он бережно нёс что-то зажатое — крохотное, белое, скомканное. От его рубашки на трёх пуговицах несло сырой землёй, плесенью и странным, резким, удушливым запахом гниющей лесной листвы — тем самым запахом, который Юрико слишком хорошо помнила по своим скитаниям. Колени мальчика были покрыты свежей, ещё влажной фиолетовой глиной, а на правой щеке алела тонкая царапина от колючего кустарника. Голос его, когда он заговорил, прозвучал непривычно тихо, почти

беззвучно — так говорят дети, которые точно знают, что виноваты, и надеются, что если говорить достаточно тихо, наказания удастся избежать.

— Добрый вечер, — буркнул Хината, не поднимая головы, и его маленькие грязные пятки нервно застучали друг о друга: тук-тук, тук-тук. Бессознательный, испуганный ритм.

— Добрый, — ответила Юрико, соскальзывая со скамейки на корточки, чтобы оказаться на уровне его глаз. — Иди сюда. Сядь.

Мальчик послушно устроился на перевёрнутом ящике из-под патронов. Его босые ноги не доставали до пола и сиротливо болтались в воздухе.

— Хината, — Мико сделала шаг вперёд, её руки были строго скрещены на груди. Голос оставался ровным, как натянутая нить. — Ты снова убежал в самый разгар урока. Ты уходишь каждый день и возвращаешься только в темноте. Ты не говоришь, куда ходишь. И ты забираешь из дома вещи.

Мальчик вздрогнул. Его болтающиеся пятки мгновенно замерли. Нижняя губа упрямо выпятилась, плечи напряглись, превращая его фигурку в маленькую, неприступную крепость.

— Зачем они тебе? — тихо спросила Юрико, заглядывая в его круглые, застывшие глаза.

Хината молчал, судорожно сминая пальцами грязный край рубахи.

— Бинт, — глухо раздалось из темноты угла. Сомы отложил тесак. Металл звякнул о камень. — Ты взял чистый медицинский бинт. Из тех стерильных запасов, что сержант Кимура привёз для школы. Зачем тебе чистая марля в лесу, штурман?

В огромных, тёмных глазах ребёнка застыло то особенное, замирающее выражение, с каким дикие лесные зверьки смотрят на охотника: не вызов, не страх, а абсолютное, концентрированное внимание, готовое в любую секунду превратиться в побег.

Тогда Сомы медленно поднялся со своего места. С тяжёлым, глухим стуком — тук — деревянная нога ударила в пол, заставив мальчика вжать голову в плечи. Солдат подошёл к Хинате и опустился перед ним на своё здоровое колено. От Сомы пахло крепким табаком, кедровой стружкой и той надёжной, усталой мужской силой, которой Хинате так не хватало.

— Послушай меня, Хината. Посмотри на меня, — Сомы протянул свою огромную шершавую ладонь и мягко коснулся плеча мальчика. — Мы здесь — твоя семья. Понимаешь? Самая настоящая, новая семья. А у семьи не должно быть секретов, которые могут кого-то убить. В лесу полно железа, которое взрывается. Если ты в беде, или кто-то другой в беде — просто скажи нам. Рассказывай. Мы не будем ругаться. Но мы должны знать.

Мальчик долго, не мигая, смотрел на Сому. Потом перевёл взгляд на Юрико. На Мико. На Кохэку, которая замерла у колоды с мокрой чашкой в руках и ободряюще, понимающе кивнула из темноты. Четыре пары глаз. Четыре человека, которые не бросили его. Которые каждый вечер ждали его у этого очага.

Маленькая крепость Хинаты дала трещину. Он тяжело, прерывисто вздохнул полной детской грудью, отчего его тонкая рубашка натянулась на выпирающих ключицах, шмыгнул носом и заговорил. Голос его звучал плоско, сбивчиво, с той особенной детской несвязностью, с какой пересказывают страшные сны, путая причину и следствие и не понимая до конца, какая именно деталь может оказаться опасной для взрослых.

— Это было недавно... пару недель назад, — начал он, крепче сжимая край рубахи. — Я видел человека. Он был очень-очень худой и грязный. Совсем страшный. Он лазил в чужом огороде, там, на самом краю деревни, где живёт старая бабка с палкой. Он копался в земле руками. Сам. Вот так — копал и копал, искал что-то. Батат, наверное. Или редиску. Ему было очень плохо, он даже шатался. Я подумал, что это вор, и пошёл за ним. Тихо-тихо, как кошка. Он меня не слышал, потому что всё время оглядывался и хромал.

Мальчик перевёл дух, собирая слова, как собирают рассыпанные по полу камешки.

— Он ушёл далеко в джунгли. Туда, за большой чан с гнилой водой, где ручей выходит из-под камней. Там есть старая глубокая яма под корнями большого дерева. Я спрятался за кустами дикого пандануса и смотрел. Их там двое. Солдаты.

— Солдаты? — тихо переспросила Кохэку, невольно прижимая ладонь к груди.

— Да. В форме, только она вся рваная, чёрная от грязи и горелым пахнет. Один совсем плохой. Он лежит на сухих листьях и всё время стонет. Тихонько так: «у-у-у», чтобы американцы не услышали. У него нога... сломана, наверное. Она кривая-кривая, распухла и стала синяя, как слива. И воняет от неё очень плохо. А второй солдат, который еду в огороде искал, он большой, с чёрной бородой, но у него на голове белые волосы есть, как у дедушки. Он сидит рядом с ним. У них ничего нет, только одна железная фляжка и грязные тряпки. Тот, который с бородой, он плачет иногда. Я слышал. Лежит и плачет. А потом перестаёт. А потом снова.

Юрико чувствовала, как у неё пересыхает в горле. Мико стояла неподвижно, как каменное изваяние, и только её пальцы чуть сильнее впились в собственные локти.

— Это японские солдаты? — ровно спросила Мико.

— Да, — кивнул Хината. — У них одежда зелёная. И у одного на поясе висит железный ножик маленький. Но они не страшные, правда! Они просто очень, очень грустные. И голодные. Я... я не хотел, чтобы они умерли, как те, в пещерах. Я же знаю, как это... когда один в лесу и страшно. Поэтому я носил им еду. Из наших запасов брал. Ихние галеты, армейские, твёрдые. И воду в консервной банке таскал. Я приходил, тихонько оставлял еду на камне рядом с их ямой, а сам сразу убегал.

Мальчик запнулся, его лицо судорожно скривилось, словно он снова почувствовал тот лесной запах.

— А потом... мне стало страшно, что у него нога совсем сгниёт. Я видел такое в лесу, раньше. До вас. Когда рана гниёт — человек умирает. И я... я взял наш чистый бинт. Марлю. Я попробовал поменять ему повязку. Старая тряпка была совсем мокрая, чёрная и вонючая. Я её снял, а под ней... очень страшно. Всё раздулось. Он как закричит, когда я тронул! Но я сказал: «Не кричи, дядя». И он затих, потому что понял, что я помогаю. Я обмотал новым бинтом. Аккуратно-аккуратно, как Мико-нээ меня учила. Она всегда говорит: надо мотать ровно, не сильно и не слабо, чтобы кровь ходила. Я так и сделал. А сегодня этот дядя с бородой меня поймал за руку...

Кохэку опустила чашку.

— Они птичку поймали, маленькую, сварили её в банке. И мне дядя давал лапку. Она была тёплая ещё, когда он её поймал... Но я не стал кушать.

— Почему? — тихо, с едва заметной вибрацией в голосе спросила Мико.

— Потому что мне стало жалко птичку, — опустил голову Хината. — Она же тёплая была. Живая.

Юрико закрыла глаза. За её веками с пугающей отчётливостью встал образ: ребёнок, круглый сирота войны, стоит на коленях в сырой лесной яме перед гниющим заживо взрослым мужчиной и бережно, крошечными пальцами наматывает белый марлевый бинт. Делает это ровно. Не сильно и не слабо. Потому что запомнил. Потому что на этом проклятом острове у него не было другого ответа на чужую боль.

Тишина в доме стала густой и тяжёлой, как патока. Солдаты несуществующей армии. Призраки, которые не сдались, не услышали по радио голос Императора или просто до безумия боялись выйти к американцам.

Сома медленно выдохнул через нос, поднимаясь с колена. Его деревянный протез снова глухо стукнул по глине.

— Завтра с утра, с рассветом, — жёстко, по-военному сказал он, переводя взгляд на сестру. — Хината отведёт меня к ним. Я поговорю с ними. Если они наши, их нужно выводить из леса, пока их не нашли патрули.

— Нет, — отрезала Мико. Её голос разрезал сумрак комнаты, как клинок. — Мы пойдём с Юрико. Если у раненого гангрена или заражение, ему нужна не твоя беседа, Сома. Ему нужна срочная медицинская помощь. Я умею вскрывать, промывать и чистить гноящиеся раны, я видела это в госпитале сотни раз. Ты — нет. Если ты пойдёшь один, ты принесёшь им только солдатские разговоры. Мы принесём им шанс выжить и дойти до деревни на собственных ногах. Хината отведёт нас.

Сома нахмурился, недовольно покусывая губу и перенося вес тела на протез:

— Это не женское дело, Мико. Они могут быть вооружены. Одичавшие, отчаявшиеся люди в лесу смертельно опасны, они могут выстрелить со страху.

— У одного из них гниёт нога, он не может стоять, — непреклонно парировала Мико, глядя брату Юрико прямо в глаза. — Они не станут стрелять. Мы справимся. Это наши пациенты, Сома.

Юрико шагнула вперёд и встала рядом с подругой. Их плечи соприкоснулись:

— Мы пойдём вдвоём, брат. Так будет правильно. А ты завтра останешься за главного в школе. Проведёшь занятия вместо нас, пока мы будем в лесу.

Сома моргнул. Его рот приоткрылся, потом закрылся, лицо выразило крайнюю степень изумления, словно его попросили станцевать перед американским генералом.

— Что?! — он аж поперхнулся воздухом. — В школе? Я? Чем мне с ними заниматься, Юрико? Я не учитель! Я путаю ваши иероглифы, я половину знаков забыл. Я бывший солдат с деревяшкой вместо ноги. Что я им буду рассказывать? Как копать окопы полного профиля или как чистить затвор винтовки типа «38»?

Юрико позволила себе короткую, мягкую улыбку — впервые за этот долгий, изнурительный вечер. Напряжение в комнате наконец начало спадать.

— Не надо окопов, Сома. Как раз наоборот, — тихо сказала она. — Научи их чему-нибудь полезному. Тому, что действительно пригодится им в этой новой, поломанной жизни. До войны ты был помощником бондаря, я же помню. Твои руки помнят дерево. Займи их делом. Устрой им урок труда. Покажи мальчишкам, как правильно держать молоток, чтобы не отбить пальцы. Как забить гвоздь в доску, чтобы он не согнулся. Как пилить ручной пилой и не сломать полотно. Как вырезать острый колышек для забора, как связать прочный узел на верёвке, как починить разваливающуюся стену. Все эти дети живут среди обломков, Сома. Если они научатся делать руками хоть что-то осязаемое, они перестанут чувствовать себя беспомощными жертвами. Дай им этот навык выживания.

Сома долго молчал. Он переводил взгляд с Юрико на Мико, и на его измождённом, заросшем колючей щетиной лице медленно, с трудом, словно провернулся старый ржавый шарнир, проступило выражение, которого Юрико не видела с самого момента его возвращения из плена. Это была не улыбка — нечто гораздо более важное. Крошечный, едва различимый проблеск обретаемого смысла. Он всегда работал руками, но работал молча, угрюмо, видя в труде лишь тяжёлую, постылую необходимость. А теперь сестра сказала ему: твои руки нужны этим детям. Твой навык — это не пережиток прошлого. Это их спасение.

— Ладно, — глухо проворчал Сوما, убирая тесак в ножны. — Ладно. Я попробую. Но если этот детский сад разнесёт тент или они разбегутся по кустам — я не виноват.

— Не разбегутся, — уверенно отозвалась Мико. — Им некуда бежать.

Сома коротко, сухо хмыкнул. В этом звуке было больше тепла, чем во всех параграфах школьных учебников. Он посмотрел на Хинату, который сидел на ящике, переводя взгляд с одного взрослого на другого, как зритель на теннисном матче. Плечи мальчика наконец полностью расслабились, спина разжалась. Он нёс этот колоссальный, неподъёмный груз — тайну двух прячущихся в грязи людей — несколько недель. И теперь он наконец переложил его на сильные, надёжные взрослые руки.

Кохэку, стоявшая у колодца, вытерла руки о передник, подошла к мальчику и мягко взяла его за крошечную ладонь, увлекая внутрь дома:

— Иди мыться, штурман. Начисто вытри ноги. Потом поешь, и спать. Завтра тебе рано вставать — поведёшь девчонок в джунгли.

Хината покорно пошёл за ней. На самом пороге он обернулся и посмотрел на Юрико — долгим, глубоким, совсем не детским взглядом, в котором больше не оставалось ни страха, ни вины за украденные бинты. Только абсолютное, чистое доверие: я всё рассказал. Теперь вы знаете. Теперь всё будет правильно.

Ночью Юрико лежала на тонкой циновке между Мико и Хинатой и не могла сомкнуть глаз. Мальчик спал крепко, ровно и глубоко, свернувшись калачиком. Его маленькие пальцы во сне крепко, судорожно обхватили её указательный палец — этот привычный, ночной, неосознанный детский жест каждый раз заставлял сердце Юрико сжиматься от щемящей нежности. Шестилетний ребёнок, который не смог пройти мимо чужого страдания. Ребёнок, которому стало жалко тёплую живую птицу. Ребёнок, который перевязывал гниющую плоть взрослого мужчины так, как учила Мико-нээ.

Она думала о тех двух людях, которые сейчас замерзали в сырой яме под корнями дерева за дальним холмом. О том, что уже завтра на рассвете она увидит их лица. Что она почувствует? Гнев? Жалость? Липкий страх? Это были

японские солдаты. Те самые, которые до последнего патрона стреляли в американцев, которых артиллерия перемалывала в фарш на южных скалах острова — и одновременно те, которые когда-то были точно такими же маленькими мальчиками, как Хината. С такими же матерями, которые когда-то ждали их на порогах далёких бумажных домов в префектурах Ямагата или Кумамото.

Рядом Мико лежала абсолютно неподвижно, уставившись в потолок, и Юрико точно знала: она тоже не спит. Мико никогда не спала накануне того, что требовало быстрых и точных решений. Она лежала, напряжённо вслушиваясь в ночные звуки острова, мысленно перебирая в голове содержимое школьной аптечки: марлевые отрезы, ножницы, раствор марганцовки, чистое мыло, сухие травы Хисы. Она строила геометрию из хаоса, составляла чёткий план действий. Потому что завтра утром нужно будет не думать и не плакать. Завтра нужно будет действовать.

Юрико закрыла глаза. Шрамы-полумесяцы на её левой ладони молчали. Джунгли за тонкими фанерными стенами дома шуршали своей огромной, влажной, глубокой, абсолютно равнодушной к человеческому горю жизнью.

А где-то там, в темноте под корнями, два человека ждали рассвета. Они ели грязный батат, вырванный из чужого огорода, и тихо плакали, чтобы никто не слышал. Они ещё не знали, что мальчик всё рассказал. Они не знали, что к ним уже идут.

Глава 15. Ящерица, солдат и часовой

Камень помнил утро.

Он лежал на самой кромке едва угадываемой тропы, вросший в жирную красную землю одним боком, а другим — плоским, широким — обращённый к восходящему солнцу. Валун вбирал в себя первый луч с той же жадной, молчаливой, всепоглощающей алчностью, с какой вбирал все предыдущие утра здесь, на этом острове, за тысячи рассветов до того, как в джунглях появились люди, и за тысячи рассветов после того, как они уйдут. Камень был прорезан прожилками белого кварца, похожими на замёрзшие во времени молнии. Его поверхность — шершавая, покрытая микроскопическими ямками и бороздками — ещё хранила глубокий ночной холод, но внутри неё уже просыпался подспудный, тяжёлый жар прошлых дней.

На камне лежала ящерица.

Она была маленькой, серо-коричневой, с длинным, изящным хвостом, уходящим от тела идеальной дугой, словно фраза, которую наблюдатель не успел закончить. Изумрудные чешуйки на её спине ловили первые косые лучи и превращали их в тусклые, мерцающие искры, похожие на россыпи зелёного песка. Она лежала абсолютно неподвижно, распластав пёстрое брюшко по

кварцевому сколу с тем стоическим, доверчивым усердием, которое доступно только существам с холодной кровью. Ящерица впускала в себя рассвет через чешую, через тончайшие костяные пластины черепа, превращая солнечный зной в чистую жизнь, в подспудную готовность в один миг исчезнуть в расщелине, если мир вокруг вдруг станет небезопасным.

Но мир пока не был небезопасным. Лес дышал.

Ящерица грелась и видела. Её круглые, выпуклые, янтарные глаза с вертикальными зрачками фиксировали реальность с пугающей, почти болезненной чёткостью. Она видела каждую тяжёлую каплю росы на нижней, ворсистой стороне листа дикого пандануса; видела, как сухой стебель лесного имбиря медленно распрямляется после того, как по нему прошла невидимая тварь; видела тончайшую нить паутины, на которой мерцали три высушенных комара.

Вдруг вибрация земли изменила свой привычный ритм. Ящерица приподняла голову на тонких лапках. Она видела их.

Три фигуры двигались по тропе вниз, в зелёной, мокрой расщелине между скалами, раздвигая тяжёлые, влажные листья. Они шли гуськом, босые ноги бесшумно ступали по мягкому, пружинистому мху. Первым шёл детёныш человека — Хината. От него пахло свежей пылью, сухими травами и птичьими следами. Он двигался уверенно, как зверь, родившийся в этих тенях. За ним шли две самки. Их запахи были гораздо сложнее — смесь древесного дыма, йода, горького мыла и странного, металлического человеческого напряжения.

На тропе, заросшей ползучим папоротником, самка с длинными тёмными волосами — Юрико — вдруг протянула руку назад. Не оборачиваясь, просто протянула, точно зная, где находится вторая. Её пальцы мягко, но уверенно обхватили запястье Мико — той, что шла следом с тяжёлым холщовым мешком за плечами. В этом прикосновении не было страха перед лесом. Это было движение двух ветвей, переплетающихся ради устойчивости перед лицом бури. На секунду их шаги замедлились. Взгляды встретились — долгие, глубокие, полные невысказанных, густых человеческих смыслов, которые ящерице были недоступны, но она почувствовала мгновенное изменение тепла в воздухе. Тепло вокруг них стало плотнее, острее. Мико не отдёрнула руку. Она чуть сильнее, судорожно сжала пальцы Юрико, отвечая на это мимолётное признание, и они пошли дальше, сквозь зелёную, душную полутьму, держась вместе.

Ящерица моргнула прозрачной перепонкой, впитывая жар разгорающегося дня, и снова замерла, став частью камня. Мир был просто миром.

Тропа окончательно исчезла на третьем километре, растворившись в папоротниковом море.

Воздух здесь был другим — гуще, темнее, влажнее. Кроны баньянов сомкнулись над головой плотным, непроницаемым куполом, и солнце проникало внутрь лишь редкими, тонкими, как иглы, лучами, роняя на мокрый мох золотые пятнышки, похожие на монеты. Тянуло прелыми листьями, мокрой фиолетовой глиной и чем-то ещё — тонким, кислым, пещерным. Этот запах Юрико знала слишком хорошо: запах человеческого тела, которое давно не видело чистой воды и крыши. Запах страха, въевшегося в поры, как краска.

— Тише, — прошептал Хината, останавливаясь у огромного, вывернутого с корнем дерева, где корни образовали подобие пещеры. Сверху яму прикрывала колючая шкура кустарника. — Это здесь.

Мальчик раздвинул кусты. В ту же секунду сухой, отчётливый металлический лязг разорвал сырую тишину джунглей. То был звук взводимого затвора винтовки.

— Стой! Не двигаться! — прорезал полумрак хриплый, гортанный голос, сорвавшийся на фальцет. — Кто идёт?! Ответь, или стреляю!

Из зелёных зарослей показался гранёный ствол «Арисаки». Длинный, тонкий, с тёмным, плоским наконечником штык-ножа, который слабо и угрожающе блеснул в мокром воздухе. Лезвие мелко дрожало. За стволом показалось лицо — худой до неприличия мужчина с запавшими щеками, покрытыми жёсткой чёрной бородой, в которой поблёскивали редкие белые волоски. Его военная рубаха висела на нём, как на чучеле. Глаза, воспалённые и безумные, метались между Юрико и Мико.

За его спиной, на подстилке из сухих листьев, неподвижно лежал второй солдат. Оттуда, из глубины ямы, тянуло тяжёлым, сладковатым, тошнотворным запахом гниющей плоти.

— Не бойтесь, господин Одзава! — звонко крикнул Хината, выбегая вперёд и раскидывая руки в стороны, словно маленький грязный щит. — Опустите ружье! Это со мной. Это мои новые мамы! Они помогут. Они были медсёстрами.

«Мамы».

Юрико почувствовала, как густая, горячая краска стремительно заливает её щеки, доходя до самых ушей. Рядом Мико замерла, и на её бледных скулах проступил такой же непривычный, яркий румянец. Они переглянулись на долю секунды — испуганно, смущённо, но в этом коротком взгляде было столько тепла, что Юрико на мгновение забыла о штыке перед своим лицом.

Винтовка в руках бородатого солдата дрогнула. Он медленно опустил ствол, словно оружие потеряло всякий смысл перед этими девочками. Сухие, потрескавшиеся губы военного приоткрылись:

— Вы... Принцессы Лилии? Из Химэюри?

— Да, — ответила Мико, мгновенно беря себя в руки. Она сбросила холщовый мешок на землю и опустилась на колени у края ямы. — Мы из Первого женского отделения. Нас зовут Мико Нисида и Юрико Накаяма. Мы были медсёстрами в госпитале при пещере Ихамигама. Сядьте, старшина.

Бородатый солдат медленно осел на землю, прислонив винтовку к корню. Его руки крупно дрожали.

— Я Тэмотсу Одзава, — хрипло представился он, грязными пальцами протирая слезящиеся от гноя глаза. — Старшина Тэмотсу Одзава. А это... рядовой Широ Сакаи. Он сломал ногу здесь, в лесу, три недели назад. Упал со скалы, когда мы искали воду. С тех пор не встаёт.

Мико без единого слова полезла в мешок. Оттуда появились рулоны чистого бинта, флакон марганцовки, мыло, ножницы и деревянные шины, которые Сوما бережно настрогал прошлым вечером из снарядного ящика. Она аккуратными движениями разрежала чёрную, задубевшую от грязи и крови ткань брюк на ноге Сакаи.

Юрико подавила подступившую к горлу тошноту, помогая подруге. Открывшаяся рана была страшной. Перелом был открытым; голень раздулась до колена, кожа приобрела фиолетово-синюшный, мёртвый оттенок, а из рваной, воспалённой ноги сочился густой зеленовато-жёлтый гной. Сакаи застонал, не открывая глаз, его тело судорожно дёрнулось от прикосновения смоченной в марганцовке марли. Жидкость окрасилась бурой, мутной пеной.

— Мы промоем и наложим шину, — тихо, ровным голосом сказала Мико, методично накладывая на рану чистую марлю, пропитанную травяной мазью Хисы.

— Но без пенициллина... — медленно произнесла она. — Скальпель и марганцовка лишь отсрочат неизбежное. Начался сепсис. Без настоящего госпиталя он потеряет ногу. А через несколько дней — жизнь.

Одзава молчал, обхватив голову грязными руками с чёрными ногтями.

— Ему нужна операция, — добавила Юрико, подходя к старшине. — Настоящий госпиталь с рентгеном и хирургами. Война закончилась, Одзава-сан. Вы это знаете. Американцы его вылечат и накормят. Они не будут мучить, мы видели это сами. Нас тоже нашли в джунглях. Лучше сдаться... Но вы старший — вам решать.

Старшина не поднимал головы. Он смотрел на руки Мико. Она прикладывала ровные планки к голени по обе стороны от перелома, приматывая их белым бинтом — ровно, не сильно, не слабо, как умела только она. И от каждого витка чистой марли искалеченная нога медленно начинала походить на что-то, что принадлежит живому человеку. Эта белизна бинта была

самым мирным, самым чистым зрелищем, которое Одзава видел за последний год.

— Хорошо, — через несколько долгих минут сказал он. Голос его был абсолютно пустым, выжженным изнутри. — Мы сдадимся.

Юрико медленно выдохнула воздух, который неосознанно задерживала. Мико завязала последний узел на повязке и поднялась, отряхивая колени.

— Вы здесь одни? — спросила она, вытирая пальцы чистой тряпкой.

— Да, — тихо ответил старшина. Он медленно поднял руку и показал куда-то вглубь чащи, за кусты дикого имбиря. — Остальные там...

Среди зарослей папоротника, в десяти шагах от ямы, земля была неровной. Четыре аккуратных, ровных холмика рыжей земли выделялись на фоне тёмного лесного перегноя. Могилы. Маленькие, заброшенные, без имён и табличек — просто Четыре насыпи, на которых лежали ржавые, пробитые осколками японские каски. Молодая, сочно-зелёная лесная трава уже начинала жадно прорастать сквозь них, забирая мёртвых обратно в землю.

Одзава отвернулся, пряча глаза.

— Несём его, — коротко сказала Мико, перехватывая холщовую сумку.

Рядовой Питерсон жевал жвачку, прислонившись спиной к нагретому вечерним солнцем мешку с песком у въезда в американскую военную комендатуру. День тянулся лениво, пыльно и невыносимо скучно. Война на Окинаве давно закончилась, и его единственной задачей было стоять на этом блокпосту и следить, чтобы тяжёлые армейские грузовики не сбивали местных жителей на крутом повороте дороги. От жары и пыли рубашка липла к лопаткам, пахло ржавым железом и сухой травой.

Питерсон лениво скользнул взглядом по пустой грунтовой дороге и вдруг замер, перестав жевать. Из дрожащего пыльного марева к посту приближалась странная, почти призрачная процессия.

Впереди шёл маленький босой мальчик в рваной рубахе, который вертелся под ногами, как преданный щенок. За ним двигались трое, тяжело, с трудом волоча ноги. Девушка в слишком большом для неё зелёном рабочем комбинезоне с грубой надписью USACE на спине и грязный, обросший густой чёрной бородой японский военный тащили на себе третьего. Раненый солдат едва держался на весу, его лицо было цвета мокрого цемента, он подтягивал одну ногу, на которую была наложена топорная деревянная шина, обмотанная на удивление чистым белым бинтом. Даже на расстоянии нескольких десятков ярдов от этой группы шёл тяжёлый, кислый запах гноя и прелой листвы.

Замыкала шествие вторая девушка. Питерсон инстинктивно выпрямился и снял винтовку с плеча, почувствовав, как напрягся напарник в кузове джипа.

Эта вторая девушка — худая, бледная, с короткими неровно остриженными волосами и прямой, почти несгибаемой спиной — несла на плече тяжёлую связку. За её спиной, перехваченные брезентовым ремнём, болтались несколько японских винтовок «Арисака» с примкнутыми штык-ножами.

Процессия остановилась в трёх метрах от блокпоста. Юрико, замыкавшая шествие, медленно, без резких движений, со стоном облегчения скинула связку с плеча. Оружие с глухим, тяжёлым металлическим лязгом упало прямо в красную придорожную пыль к ногам Питерсона. Штыки тускло блеснули на солнце.

— We are not leaving them in the jungle, — сказала Юрико на ломаном, но отчётливом английском, тяжело дыша и вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Она показала на раненого Сакаи: — He needs hospital. Broken leg. Very bad infection.

Питерсон опешил. Он переводил взгляд с брошенных винтовок на измождённых, полуживых японских солдат, которые стояли, уткнув глаза в землю, и на этих двух окинавских девчонок, которые смотрели на него без страха.

— We are from Mawashiasato, — добавила Мико, чей дрожащий, уставший голос прозвучал на удивление мягко, с аккуратными книжными интонациями. — Sergeant Ren Kimura and Miss Umi Sanchez know us. We are the schoolteachers.

Часовой моргнул, переваривая услышанное, а затем быстро обернулся и закричал дежурному медику, сидевшему в тени на крыльце здания комендатуры:

— Эй, Док! Тащи сюда чёртовы носилки и парней с водой! У нас тут... сдающиеся. И, похоже, это учителя из местной школы!

Они вернулись домой поздно вечером, когда раскалённое солнце наконец сползло за линию холмов, оставив после себя лишь густой, фиолетовый сумрак и запах остывающей глины. Кохэку ждала их на пороге лачуги; в доме вкусно пахло варёным рисом и дымом от очага. Хината, невыносимо уставший от лесного похода, но гордый выполненным долгом, упал на сахарные мешки в углу и мгновенно заснул, даже не разувшись и не дождавшись ужина.

Сома сидел на пороге. Он мерно водил бруском по лезвию тесака и молча ждал. Он не спросил, что произошло в лесу. Он просто поднял глаза, посмотрел на сестру, на Мико, на их уставшие, но спокойные лица — и его рука с бруском замерла на секунду. Этого молчаливого понимания было более чем достаточно.

За ужином Юрико почти не прикасалась к еде. Она медленно пережёвывала пресный рис, глядя на керосиновую лампу, которая дрожала и чадила, бросая длинные, подвижные тени на фанерные стены их дома. Перед

её глазами всё ещё стояли те четыре неровных холмика красной земли среди высоких лесных папоротников, на которых лежали ржавые каски.

После ужина, когда Кохэку ушла мыть чашки к колодцу, Соме осталось сидеть на пороге, вглядываясь в темноту. Мико устроилась на краешке деревянной скамьи, методично промывая медицинские инструменты в слабом растворе йода. Юрико подошла к ней и остановилась, глядя на темнеющую стену джунглей за окном.

— Четыре холмика, — тихо, но твёрдо произнесла Юрико. Её левая ладонь с глубокими шрамами-полумесяцами инстинктивно сжалась в кулак. — Без имён. Без крестов. Просто дикая земля, которая забирает их память. И трава.

Мико перестала перебирать ножницы. Вода в банке тихо плеснула.

— Их может быть десяток. Сотня. Тысячи по всему острову, — продолжила Юрико, и в её голосе зазвенела струна, натянутая до предела. — В джунглях, на полях, в пещерах, на дне океана. Окинавцы. Японцы. Американцы... Какая теперь разница? Все они остались здесь, под этой бурой глиной. Без имён, без памяти. Пройдёт год, и от них не останется ничего, кроме белых костей в траве.

Она повернулась к брату и подруге:

— Мы должны их похоронить. По-настоящему. Не так, как их хоронит этот равнодушный лес. С именами — если сможем узнать у выживших. С камнями вместо надгробий — если имён найти не удастся. Окинавцев, японцев, американцев — всех, кого сможем отыскать в этих зарослях. Каждого человека... Каждого. Нельзя, чтобы они остались просто холмиками, которые топчут ногами.

Соме поднял голову. Его суровое лицо в неверном свете керосиновой лампы казалось тяжёлым, вырубленным из камня, но в глубине его тёмных глаз что-то болезненно сдвинулось. Он вспомнил Филиппины. Манилу. Другую раскалённую землю, другие джунгли и могилы своих товарищей, которые тогда некому было копать.

— Кто будет искать их и копать землю? — глухо спросил он, переводя вес на деревянный протез.

— Мы, — ответила Юрико, глядя брату прямо в глаза. — И дети. Мы сделаем это частью нашей школы. Это будет наш главный урок. Урок памяти. Пусть они знают, что под каждой тропой, по которой они сегодня бегают босиком, лежит кто-то, кто когда-то тоже был живым и любил этот мир. Мы научим их уважать смерть.

Соме долго молчал, слушая, как шуршат листья пандануса на ветру. Затем он медленно, тяжело кивнул:

— Ладно. Хорошие лопаты и заступы я достану. Видел у перекупщиков на рынке Макиси. Привезу к концу недели.

Мико подняла глаза от аптечки. Она посмотрела на Юрико — открыто, ровно, со всей той глубокой, звенящей нежностью, которая родилась между ними на утренней тропе. Мико протянула руку и уверенно положила свою ладонь поверх сжатого кулака Юрико. Это было безмолвное согласие, не требующее лишних слов.

— Я помогу, — тихо сказала Мико. — Мы будем записывать каждое имя, которое удастся вспомнить Одзаве или другим. На белой бумаге. Чёткими иероглифами. Чтобы они не пропали в темноте.

Юрико кивнула и опустилась на скамью рядом с ней. Их плечи плотно соприкоснулись, даря друг другу долгожданное тепло. За фанерной стеной бумажного дома ровно и глубоко дышал спящий Хината. А на бататовых грядках тихо шуршал ночной океанский ветер.

Глава 16. Арифметика взгляда

Рен Кимура приехал в четверг, когда октябрьское солнце уже перевалило за зенит. Оно было обманчиво ласковым с утра, но теперь припекало по-летнему, превращая брезентовый купол импровизированной школы в туго натянутый, гудящий от зноя барабан. Золотистые, прямоугольные пятна света падали сквозь прорехи брезента на земляной пол, похожие на страницы раскрытой гигантской книги. Его зелёный «Виллис» подкатил к краю площади почти бесшумно, насколько может быть бесшумной армейская машина на раскалённой дороге, и замер под сенью наполовину обгоревшего баньяна.

Рен заглушил двигатель, но из кабины не вышел. Он сидел расслабившись, прислонившись спиной к кожаному сиденью, и смотрел. Мотор остывал с редким, методичным металлическим пощёлкиванием.

Воздух над пустошью дрожал, слегка искажая пропорции предметов. Юрико стояла перед классом. На ней был всё тот же безразмерный, ушитый комбинезон, стянутый на талии куском ткани от старого цветного кимоно. На вытянутой ладони она держала латунные гильзы от американского карабина, объясняя арифметику младшим — тем, кто ещё путал цифры. Она говорила тихо, часто наклоняясь к испуганному ребёнку в первом ряду. От каждого такого наклона тяжёлая тёмная прядь волос срывалась с её уха и падала на лицо, а она, не прерывая объяснения, задвигала её назад кончиками пальцев, оставляя на виске тонкую, белую полоску меловой пыли. Солнце, пробивавшееся сквозь рваный край тента, падало на её руку, и пальцы, сжимающие холодный металл гильз, казались вылепленными из тёплого, полупрозрачного янтаря.

В её неловкости, в этом упрямом, тихом окинавском сопротивлении хаосу было столько нездешней, светящейся теплоты, что Рен почувствовал, как у него перехватывает дыхание. Его правая рука лежала на руле, левая — на колене, и обе были неподвижны. А на его смуглом, скуластом лице нисея застыло

выражение, которое он сам едва ли осознавал: открытое, незащищенное, как протянутая ладонь.

Мико стояла у противоположного края тента, записывая кусочком угля на обломке картона список букв для старших учеников. Чужой взгляд она почувствовала мгновенно. Не на себе — мимо себя. Этот взгляд скользнул сквозь неё, как солнечный луч сквозь чистое стекло, и остановился на Юрико.

Мико медленно повернула голову. Она увидела Рена в кабине джипа. Она увидела его лицо. И она зафиксировала то, что фиксирует опытный врач при осмотре: тихую, осторожную, неостановимую нежность. В его тёмных, чуть раскосых глазах горел мягкий, ровный свет — не требование, не солдатская похоть, а нечто гораздо более опасное для хрупкого мира их бумажного дома: та нежность, которая не просит ничего взамен. Напряжённые сухожилия на смуглой шее сержанта выдавали его с головой.

Мико вернулась к картону. Её рука с углём продолжала выводить знаки — ровно, точно, без единой пометки. Но уголки её губ чуть заметно опустились, и на бледном лице на мгновение проявилась и тут же погасла тень. Не обида, не ревность. То было мимолётное, холодное узнавание. Оно пришло и ушло, как пробегает едва заметная рябь по воде, в которую упал невидимый волосок. Она просто записала этот симптом в свою внутреннюю карту реальности.

Занятия закончились с резким ударом бамбуковой палки по пустой снарядной гильзе. Дети с гомоном высыпали из-под навеса, как сухой горох из порванного мешка, устремляясь в сторону полевой кухни, откуда уже тянуло варёными клубнями.

Хината, как всегда, был первым. Быстро съев батат, он сорвался со своей циновки, лихо перепрыгнул через ящик и бросился к зелёному джипу, взрывая босыми ногами облачка красной пыли.

— Сержант Кимура! Сержант Кимура! — звонко закричал мальчик, вытягиваясь перед машиной в струну и отдавая нелепую, полувоенную честь.

Его огромные круглые глаза жадно, с отчаянной надеждой прочёсывали приборную панель, узкий перчаточный ящик и заднее сиденье. Сладкая сгущёнка? Галеты? Или тот волшебный, горьковатый тёмный квадрат в серебряной фольге, который они называют «шоколад»?

Рен вышел из машины, улыбаясь одними уголками губ, и положил тяжёлую ладонь на вихрастую, пахнущую солнцем макушку мальчика.

— Вольно, штурман, — сказал он. — Как дела в школе?

— Хорошо! Я сегодня выучил катакану «ки»! — Хината гордо раздул грудь. — Ката-кана «ки»! «Ки» — как Кимура!

— Молодец.

Хината постоял секунду, переминаясь с ноги на ногу, лицо его вытянулось, а нижняя губа предательски двинулась вперёд. Он заглянул Рену в карманы:

— А вы... ничего не привезли? Ну, совсем ничего? Даже печенья?

Рен вздохнул, и на его лице проступила та особая, безымянная грусть, которую оставляют только дети, привыкшие никогда не просить слишком многого и заранее готовые к отказу.

— Ничего из еды, штурман. На этот раз пустые руки. Привёз только то, что тяжелее шоколада. Учебники.

Хината, шмыгнув носом, мгновенно взял себя в руки, сглотнул обиду и преувеличенно взросло кивнул:

— Ничего. Учебники тоже хорошо. Мы любим учиться.

Когда Юрико и Мико подошли к машине, Рен уже откинул брезентовый клапан заднего сиденья и выгрузил два тяжёлых, перевязанных сухой бечёвкой тюка. От них шёл густой, мирный запах — пахло свежей фабричной бумагой, типографской краской и сухим библиотечным клеем. Запах тишины, совершенно чуждый этой лагерной пустоши.

— Это от миссис Санчес, — Рен развязал первый узел. Внутри лежали ровные стопки серой, грубоватой, но чистой бумаги для детей, деревянные палочки с металлическими перьями и четыре стеклянные бутылки с фиолетовыми чернилами.

Юрико бережно, словно касалась крыла редкой бабочки, провела пальцами по верхнему листу. Бумага ответила ей тонким, живым шорохом.

— А это, — Рен достал второй тюк, обёрнутый в плотную коричневую крафт-бумагу, — лично для вас.

— Для нас? — Мико удивлённо нахмурилась.

— Для вас, — Рен передал книги Юрико. На тёмном переплёте верхней значилось: «Основы педагогики для начальной школы. Том первый». Под ней лежали учебники по географии, истории и литературе для старших классов. — Война не дала вам окончить среднюю школу. Но по факту — вы уже учителя. Вы взяли на себя ответственность за детей этого острова. А значит и вам нужно учиться дальше. Чтобы было, что им отдавать.

Юрико прижала тяжёлые тома к груди. В этом жесте американской администрации было нечто большее, чем просто гуманитарная помощь. Это было признание. Их больше не считали испуганными девчонками из пещер. Их признали сэнсэями.

— Спасибо, Рен-сан, — тихо произнесла Юрико, опустив глаза. А затем, справившись с волнением, добавила: — Скажите... те двое солдат, которых мы нашли в джунглях. Что с ними? Одзава и Сакаи.

Рен посерьёзnel, его спина инстинктивно выпрямилась по-военному.

— С ними всё в порядке. Насколько это возможно. Старшину Одзаву после дезинфекции и полного медосмотра перевели в лагерь для военнопленных на севере. Сейчас это просто фильтрационный пункт, там безопасно, его кормят. А вот рядовой Сакаи... Он в полевом госпитале. Начался сильный сепсис, поэтому ампутации ниже колена избежать не удалось. Но хирурги сказали передать вам: ваша шина из досок и чистая марля спасли ему остаток ноги. И жизнь. Если бы вы не нашли их... опоздали бы на пару дней... он бы не выжил.

Юрико едва заметно кивнула. Два дня. Срок, отделяющий жизнь от смерти, измерялся толщиной марлевого бинта и детской настойчивостью. Мико должна гордиться собой. Её диагноз оказался верным, и это принесло холодное, профессиональное удовлетворение — тихую гордость за подругу.

— Рен-сан, — Мико сделала шаг вперёд, глядя переводчику прямо в глаза. — У нас есть к вам большая просьба... Мы хотим почтить память всех, кто остался в этой земле. Похоронить их по-настоящему. Не в общих, безымянных рвах, а каждого отдельно. Окинавцев, японцев, американцев. Нам нужны списки. Списки погибших, пропавших без вести, списки батальонов. Всё, что есть в архивах комендатуры.

Рен долго молчал. Он стоял, привалившись к крылу джипа, и машинально, по давней привычке, сплетал из сухой травинки один из тех причудливых индейских узлов, которому в детстве его научила мать-навахо. Пальцы двигались быстро, автономно. Он понимал, какую неподъёмную гору эти девочки хотят взвалить на свои плечи.

— Это будет трудно, — негромко сказал он. — Японские архивы — это сплошной хаос, половина сгорела при штурме замка Сюри. Списки администрации часто противоречат данным Красного Креста. Но... я поговорю с миссис Санчес. Если кто-то на этом осколке земли и способен вытащить эти крупницы информации, то только она. Я сделаю всё, что в моих силах.

— Спасибо, — выдохнула Мико, посмотрев на Юрико.

— Спасибо вам, — сказала она.

— Ладно, собирайтесь, я вас подвезу, — Рен махнул рукой в сторону сидений. — Жара невыносимая, подброшу вас до Мавасиасато. Штурман! На пост!

Хината с победным воплем взлетел на переднее пассажирское сиденье, намертво вцепившись грязными пальцами в кожаный край приборной панели.

— Показывай дорогу, но без резких поворотов! — скомандовал Рен, заводя мотор.

Юрико и Мико устроились сзади, бережно удерживая на коленях тяжёлые стопки книг. Джип сорвался с места, обдав пустошь сухим, бензиновым ветром и подняв шлейф рыжей пыли.

Пока машина подпрыгивала на ухабах, Юрико чувствовала, как её бедро плотно, без зазора прижато к бедру Мико на узкой деревянной скамье кузова. От этого ежедневного, близкого присутствия Юрико казалось, что Мико слегка напряжена — как натянутая струна, к которой случайно прикоснулись пальцем. Мико смотрела в сторону, на проплывающие мимо серые руины и редкие зелёные ростки, пробивающиеся сквозь пепел, и молчала. Но её молчание сегодня не было защитным щитом. Скорее, оно походило на занавес, за которым происходила тяжёлая, скрытая умственная работа. Юрико, знавшая каждый вздох подруги, чувствовала это приближение грозы по едва заметному изменению давления между ними.

Дом встретил их мерным, глухим стуком топора. Сوما, тяжело опираясь на деревянный протез, тесал колышки для новых грядок на огороде. Кохэку развешивала выстиранное бельё на верёвке, натянутой между покосившимся столбом и ржавым остовом сгоревшего японского грузовика.

Рен затормозил у самого крыльца. Он вышел, вежливо и почтительно поклонился Кохэку:

— Добрый вечер, Накаяма-сан. Как ваш батат?

Кохэку тепло, с привычным достоинством улыбнулась, вытирая руки о передник:

— Земля хорошая, Кимура-сан, всё растёт. Спасибо, что подвезли их.

Сوما прекратил работу, поднял топор и коротко, тяжело зыркнул на американского сержанта исподлобья. Рен ответил таким же коротким, сдержанным кивком. В этом безмолвном мужском обмене взглядами не было ни вражды, ни дружбы, но было главное: «ты держишь этот берег, я держу свой».

Не задерживаясь более, Рен развернул джип. Машина быстро скрылась за холмом, оставив в вечернем воздухе лишь сизый шлейф выхлопных газов, который долго не мог рассеяться в безветрии.

Ужин прошёл в глубокой тишине. Пресный рис, варёный батат и кусочки сушёной рыбы, которую Сوما выменял на рынке Макиси. Хината ел с закрывающимися глазами и, едва проглотив последний кусок, повалился на свои сахарные мешки в углу, мгновенно погрузившись в глубокий сон. Кохэку собрала посуду и ушла к колодцу. Сوما, прихватив пачку дешёвых сигарет, вышел курить на задний двор.

В комнате остались только они вдвоём.

Свет керосиновой лампы дрожал и чадил, выхватывая из темноты фанерных стен их силуэты. Юрико сидела на циновке, влажной тряпкой методично протирая новые металлические перья для чернил. Руки двигались сами, монотонно: вжик, вжик. Металл слабо поблёскивал. Рядом Мико, уже по лагерной привычке, штопала разорванный подол своей старой хакама, используя прочную нить от американской парашютной стропы. Игла входила в плотную ткань с сухим, ритмичным звуком: прокол, шов, прокол.

Вдруг Мико остановила руку. Игла замерла на полпути. Её тёмные, ясные глаза остановились на лице Юрико — долгим, ровным, изучающим взглядом.

Юрико перевернула очередное перо, но пальцы её слегка задрожали. Она чувствовала этот взгляд кожей, как чувствуют направленный в спину прицел.

— Что такое? — спросила Юрико, стараясь, чтобы голос звучал буднично, и не поднимая глаз.

Мико помолчала, дожидаясь, пока пламя в лампе выровняется.

— Я заметила, — произнесла она своим обычным, лишённым явных интонаций, почти клиническим голосом, — как на тебя сегодня смотрел сержант Кимура.

Шорох тряпки оборвался. Юрико замерла, но головы не подняла.

— Юрико, он смотрит на тебя не как на коллегу-учителя, — продолжила Мико, словно констатируя очевидный симптом на теле больного. — Он смотрит на тебя как мужчина. Слишком долго. И слишком бережно.

Воздух в маленькой комнате мгновенно сделался невыносимо плотным, горячим, удушливым. Густая, обжигающая кровь хлынула Юрико в лицо — от самой шеи, заливая щёки, доползая до кончиков ушей. Кожа горела так, словно её опалило близким пожаром. Это был удар, которого она не ждала. И страшнее всего было то, что этот удар нанесла Мико.

Юрико резко, с силой захлопнула жестяную коробку с перьями. Звук получился сухим и громким, как выстрел. Пылинки испуганно станцевали в жёлтом луче лампы.

— Это неправда! — резко, почти со злостью бросила Юрико. Голос сорвался на хрип.

Она вскочила, едва не перевернув бутылочку с фиолетовыми чернилами. Металлическое перо сорвалось с её колен, упало на земляной пол и покатилося, оставляя в пыли тонкую уродливую полосу. Юрико не оглянулась. Она рванулась к выходу, едва не задев плечом фанерный косяк двери, и выбежала вон — в спасительную, прохладную, влажную темноту октябрьской ночи.

Мико осталась сидеть в жёлтом кругу света, удивлённо подняв брови и удерживая иглу в замерших пальцах. На её лице не было обиды. Только глубокое, искреннее, абсолютно чистое недоумение ребёнка, который наступил на сухую ветку, а она оказалась змеей. Она не понимала. Она просто зафиксировала факт чужого тепла и чужого взгляда. Она не знала — и не могла знать, — что Юрико унесла в темноту не смущение от разговора о сержанте. Мико умела лечить чужие раны, но никогда не смотрела в зеркало, чтобы увидеть своё отражение в чужих глазах.

Юрико добежала до угла дома и обессиленно опустилась на холодный каменный фундамент, поджав колени к подбородку. Над ней раскинулось огромное, равнодушное окинавское небо, усыпанное тяжёлыми, колючими звёздами. Воздух пах остывающей землёй, горьким дымом сигареты Сомы где-то в темноте и далёким, солёным дыханием океана. Её сердце билось так сильно и часто, что казалось — этот стук мешает спать Хинате за тонкой фанерной перегородкой.

Она зажмурилась. Перед глазами стояло лицо Мико — её спокойный, чистый лоб, ровные брови и этот невозмутимый голос: «Я заметила, как на тебя смотрел Кимура». Слова Мико звенели в ушах, как натянутая проволока. Мико, которая умела в кромешной темноте на ощупь найти повреждённую артерию. Мико, которая по одному запаху определяла начало гангрены. Мико, которая видела людей насквозь.

И за этим вопросом стоял другой, который она не могла произнести: «А куда смотрю я?»

Сквозь щели в фанере донёлся тихий, ровный звук со стороны комнаты. Мико снова потянула нить. Прокол, шов, прокол. Мерный, бесконечный стежок, сшивающий осколки их жизни воедино.

Юрико открыла глаза, сделала глубокий вдох, наполняя лёгкие влажным ночным воздухом, и поднялась. Она отряхнула штанины комбинезона от налипшей травы и медленно вернулась внутрь.

Мико не подняла головы от шитья. Юрико молча опустилась на свою циновку, наклонилась, подняла упавшее перо, стёрла с него землю пальцем и снова взялась за влажную тряпку.

Они сидели плечом к плечу, разделяемые лишь полуметром дрожащего воздуха, в котором легко могла поместиться целая вселенная невысказанных слов.

Мико, не прерывая работы, тихо произнесла:

— Прости. Я не хотела тебя обидеть.

— Ты не обидела, — ответила Юрико, глядя на фиолетовый след на металле. — Всё хорошо...

Обе солгали. Обе чувствовали, что это ложь. И обе промолчали об этом, продолжая свою работу — шов, шов; тряпка, тряпка; перо, перо — в слабом, тёплом сиянии керосиновой лампы, посреди израненного острова, который они решили вернуть к жизни.

Глава 17. Камень для имён

Январь пришёл на Окинаву с тяжёлыми, затяжными дождями. Они лили трое суток напролёт — мелкие, косые, пронзительно-солёные потоки, принесённые со стороны океана. Воздух пах мокрым железом и остывающей гарью. Красная глина Мавасиасато превратилась в жидкое, бурлящее месиво, которое намертво липло к деревянным гэта и босым ногам, словно сам остров не хотел никого отпускать. Тонкие фанерные стены дома Накаям разбухли от сырости, покрылись тёмными разводами и тихо шуршали при каждом порыве ветра, как старая ширма. Ржавая жестяная крыша гудела без умолку, превращая лачугу в утробу огромного, неровно бьющего барабана.

Но к воскресному утру затяжной шторм иссяк. Солнце выкатилось над холмами резко, жадно и слепяще, словно торопилось выжечь следы непогоды. Остров заблестел, вымытый до самых костей: растерзанная земля отливала глубоким бордовым блеском, листья пандануса сверкали, как очищенная медь, а над плоскими крышами лагерных бараков поднялся густой, белый пар. Окинава дышала — тяжело, влажно, но в полную грудь.

Смерть на этом острове не уходила глубоко под землю. Она лежала на самой её поверхности, как россыпь колотых ракушек после жестокого шторма. К зиме Окинава, упрямо зарастающая молодой, ядовито-зелёной травой, стала похожа на роскошный изумрудный саван, под которым покоились тысячи непогребённых судеб.

Каждое воскресенье, едва первые лучи пробивали туман, группы выживших добровольцев отправлялись на южное побережье. Старики, женщины, подростки — они медленно пробирались вдоль береговой линии скал Киян и Мабуни. Там, где острые, зазубренные коралловые камни, похожие на клыки доисторических чудовищ, рвали в клочья обувь и кожу, люди искали то, что оставили после себя месяцы ветров, дождей и приливов. Они не копали. Они собирали. Обломки костей, куски истлевшего армейского сукна, ржавые пряжки, пуговицы с гравировкой сакуры, американские жетоны, потемневшие цепочки с буддийскими амулетами. Берег возвращал мертвецов неохотно, по частям.

В джунглях было ещё тяжелее. За полгода тропическая зелень поглотила следы боёв: оплела лианами разбитые орудия, засыпала папоротником входы в пещеры. Но местные жители — охотники и сборщики лечебных трав, знавшие каждую расщелину — находили то, что спрятала природа. Иногда фрагмент черепа, иногда просто потемневший затвор винтовки и тяжёлый, сладковатый

запах, который невозможно было перепутать ни с чем. На месте находки вбивали деревянный колышек, обмотанный куском белой парашютной ткани.

Координаторами этого страшного, терпеливого труда стали Сэйко и Усаги. Те самые две девочки из отряда, которые когда-то принесли в школу известие о вернувшемся Кобаяси. Их лица за эти месяцы приобрели оттенок старой рисовой бумаги, а под ногтями, казалось, навсегда въелась сухая лагерная грязь. Теперь они, с холодным усердием архивариусов, сортировали находки. Сэйко чертила карты на обрывках американских картонных коробок из-под сухих пайков, отмечая точки крестиками. Усаги вела записи: имена, если удавалось разобрать гравировку, или просто номера, если от человека оставался только кусок металла.

Юрико и Мико обычно присоединялись к ним по выходным, когда школьный тент пустовал. Их пальцы, привыкшие к мелу и книжным страницам, безропотно прикасались к остывшей памяти земли. Но не в это воскресенье. В этот день их ждали дома.

Сома вернулся с рынка Макиси к полудню.

Он входил тяжело, и дом содрогался от его шагов: сначала глухой, жёсткий удар деревянного протеза о порог, затем скрип просевшей половицы, и сразу вслед за этим — запахи. В последнее время от Сомы пахло не только кедровой стружкой и потом. Он приносил с собой острый, горький дым дешёвого японского табака, который курил на рынке, зажав сигарету в углу рта, и этот дым въедался в его широкие, мозолистые ладони.

Рынок Макиси стал для старшего брата Юрико новой передовой. Среди хаоса, ржавого железа и гнилых досок он сколотил небольшую мастерскую: навес из дырявого брезента, верстак из досок американского склада и три снарядных ящика вместо стульев. Он чинил табуреты, точил рукояти топоров, строгал доски для заборов. К нему шли, потому что его работа была честной и дешёвой.

Но не только плотницким делом промышлял Сوما. На рынке шёпотом поговаривали, что одноногий Накаяма умеет доставать вещи, которых не было даже у распределителей администрации: американскую сгущёнку, медицинский спирт, мотки медной проволоки, куски настоящего заводского мыла. Его протез, глухо стучащий по грязи Макиси, стал своего рода пропуском в мир серой контрабанды, где выживание мерилось способностью молчать и быстро обменивать нужное на необходимое.

Хината ходил с ним по субботам. Мальчик крутился у верстака, подавал инструменты и впитывал законы рыночной жизни быстрее, чем катакану. Именно Хината, болтая босыми ногами на крыльце, первым выдал тайну Сомы неделю назад.

— Дядя Сомы кого-то нашёл, — сообщил он тогда, усердно размазывая уголь по картонке. — Женщину. Красивую. Она приходила к верстаку три раза. Он ей стул отремонтировал. А потом они вместе пили чай из термоса. Она тихая. Очень тихая. Как Мико-нээ. Только Мико-нээ тихая, потому что думает, а эта — потому что грустная.

Юрико тогда поразились, как точно шестилетний ребёнок уловил разницу между двумя видами молчания. Сомы тогда лишь густо покраснел сквозь чёрную щетину и промолчал. А сегодня эта женщина пришла к ним.

Нанами Като переступила порог лачуги так, словно входила в старинный чайный домик, а не в фанерный барак. На ней, под накидкой, было настоящее шёлковое кимоно — блеклого, серо-синего цвета, с едва различимым узором из пожухлых осенних листьев. Оно было старым, выцветшим от частых стирок, с аккуратными, почти невидимыми заплатками на сгибе правого рукава, но безупречно чистым и отутюженным. Ткань шуршала мягко, благородно, принося с собой сухой, чистый аромат сандала и полыни — запах старого сундука, в котором вещь берегли всю войну. Волосы Нанами были собраны в низкую, тугую косу, перехваченную простым роговым гребнем.

Ей было около двадцати пяти. Тонкие, правильные черты лица, смуглая кожа и глубокие, внимательные глаза, смотревшие на мир с выстраданной, спокойной серьёзностью. И тонкий шрам на щеке, сползающий на ключицу.

Сомы ввёл её, и по его движениям — слишком резким, скованным — Юрико поняла, как сильно брат волнуется. Его протез стучал по полу торопливо: тук-тук-тук, без привычных пауз. Здоровая рука то и дело мяла край чистой рубахи. В этот миг он казался не суровым фронтовиком, а мальчишкой, который впервые привёл в дом кого-то бесконечно важного.

— Это Нанами, — глухо произнёс Сомы, глядя куда-то в пол. — Мы... на рынке познакомились. Нанами — невеста Кэро Кэано. Моего сослуживца. Мы вместе были на Филиппинах. Он погиб там. Рядом со мной.

Слово «погиб» упало в комнату тяжело и обыденно. В их мире мертвецы представляли живых чаще, чем визитные карточки.

Кохэку, вытерев руки о парадный, чистый передник, низко поклонилась:

— Проходите, Нанами-сан. Дом у нас скромный, но гостям мы рады.

Они уселись вокруг низкого деревянного стола, сколоченного Сомой. Мико разливала горячую, изумрудную жидкость по разномастным керамическим чашкам. Запах чайного пара мгновенно заполнил комнату — это был настоящий зелёный чай с ароматом жареного риса, сухой и терпкий, принесённый Сомой с рынка. Запах довоенного, мирного дома. Юрико смотрела, как тонкие, прохладные пальцы Нанами бережно обхватывают

тёплую, шершавую глину, покрытую мелкими трещинками глазури, и как от этого тепла плечи гости чуть заметно расслабляются.

Обед тянулся неспешно: рис, варёный батат, острая редиска, рыба. Хината ел молча, не сводя с Нанами круглых, изучающих глаз. Он словно взвешивал этот шуршащий шёлк и тихий голос, решая, можно ли ей доверять. Нанами рассказывала о довоенном Сюри, Сوما вставлял короткие, сухие реплики. Общая боль потерь делала их разговор ровным, лишённым надрыва.

Когда Кохэку убрала чашки из-под риса, оставив на столе только исходящий паром чайник, Нанами выпрямила спину. Шёлк её кимоно издал тихий, вздыхающий шорох.

— Сوما рассказал мне, чем вы занимаетесь, — произнесла она, глядя прямо на Юрико и Мико. — О том, что вы собираете останки на побережье и в лесах. Я знаю, что случилось с отрядом Химэюри в пещерах Хаэбару. Моя младшая сестра... она тоже была мобилизована. Но их увезли на север острова. Она не вернулась.

Нанами замолчала, опутив глаза к чашке, где на зелёной глади плавала чаинка.

— Вы не можете просто оставлять их в безымянных лесных могилах или записывать на картонках, — продолжила она, и в её голосе появилась твёрдость. — Им нужен памятник. Кенотаф. Место, куда люди смогут приходить, чтобы плакать не над пустой, безразличной землёй, а перед камнем, который хранит их имена... Камень, на котором выбиты имена. Всех. Кого сможете найти. Кого не сможете — тоже. Потому что даже ненайденные заслуживают камня.

— Где мы возьмём камень? — тихо спросила Мико, и её голос прозвучал непривычно глухо. — На Окинаве не осталось целых мастерских. Всё разбито в щебень.

— Мой отец — каменщик, — Нанами подняла взгляд, и в её глазах Юрико увидела ту же упрямую силу, что вела их сквозь войну. — До войны он высекал надгробия и строил стены в Сюри. Он жив. У него сохранились инструменты. Когда я рассказала ему о вашей школе и о девочках, он сам попросил меня передать это. Он высечет кенотаф. Без оплаты. Это меньшее, что старый мастер может сделать для дочерей своего острова.

В комнате повисла такая глубокая тишина, что было слышно, как на улице остывает брезент школьного тента. Юрико перевела взгляд на Мико. Пальцы подруги, сжимавшие чашку, напряглись так, что казалось она сейчас раздавит её. Настоящий камень. Тяжёлый, вечный, светло-серый коралловый известняк, который не смоет ни один тайфун, не сожжёт ни один пожар.

— Где? — коротко спросила Мико. — Где мы его поставим?

— На холме, — ответила Нанами. — Там, где стояли здания вашей Первой женской школы. Там остался фундамент. Камень встанет на то самое место, где вы учились. Земля соединится с памятью.

— Спасибо, Нанами-сан, — выдохнула Юрико, чувствуя, как горло перехватывает горячая волна. — Мы принимаем этот дар. Передайте вашему отцу нашу глубокую благодарность.

Когда солнце коснулось вершин холмов, окрасив фанерные стены в густой, тревожный золотой цвет, Сомы поднялся. Накинув куртку, он пошёл провожать Нанами к дороге. Стук его деревянной ноги — тук, тук, тук — медленно затихал в вечерних сумерках, смешиваясь с шуршанием шелка Нанами.

Кохэку долго смотрела им вслед через открытую дверь. В её глазах, окружённых глубокими морщинами, светилась тихая, материнская грусть. Она вернулась к столу, принялась протирать его влажной тряпкой, собирая крошки в ладонь.

— Хорошая женщина, — задумчиво произнесла Кохэку, не глядя на девушек. — Тихая, правильная. И Сомы с ней будто ожил. Впервые улыбаться начал, хоть и прячется.

Мать остановила руку, стряхнула крошки в ведро и как бы между делом, самым будничным тоном, добавила:

— Вам бы, девочки, тоже пора подумать о будущем. Хватит уже в мертвецах копаться да с чужими детьми сидеть. Жизнь-то идёт, вон как трава после дождя прёт. Нашли бы себе женихов хороших... надёжных. Может, даже кого-нибудь с машиной...

Юрико, собиравшаяся сделать глоток остывшего чая, замерла. Воздух застрял у неё в горле. Намёк матери был настолько прозрачно-плотным, что его, казалось, можно было потрогать руками. Армейский «Виллис». Рен Кимура. Кохэку, со своей вечной занятостью у колодца и котелков, видела всё. Она подметила и частые визиты переводчика, и то, как долго его машина остывает под баньяном.

Мико, сидевшая напротив, медленно, с точностью метронома, повернула голову. Её тёмные глаза остановились на лице Юрико. Это был тот самый взгляд — спокойный, изучающий, слегка ироничный взгляд врача, который фиксирует предсказуемое ухудшение состояния пациента. «Я же тебе говорила», — читалось в её зрачках.

Юрико почувствовала, как густая, обжигающая краска стремительно заливает её шею, щёки, кончики ушей. Она опустила голову, готовая провалиться сквозь земляной пол.

И тут тишину лачуги разорвал звонкий, восторженный крик Хинаты, который до этого мирно ковырялся в своём углу с гильзами:

— А можно я им женихов найду?! — мальчик вскочил на ноги, его глаза горели азартом. — Я на рынке Макиси столько парней знаю! Я мигом! Выберу самых сильных, которые мешки со сгущёнкой таскают! Нам сильные нужны!

И тут Кохэку не выдержала. Она откинула голову назад и рассмеялась — искренне, громко, во весь голос. Это был первый настоящий, чистый смех в этом доме за долгие, долгие месяцы. От этого звука фанерные стены будто раздвинулись, а керосиновая лампа качнулась, разливая ровный золотой свет.

— Рановато тебе в свахи записываться, мальчишка, — сквозь смех сказала Кохэку, шутливо щёлкнув мальчика по носу. — Ты сначала школу окончи да читать научись без запинки. А сильные женихи от твоего вида в рваных штанах сами разбегутся.

Хината насупился, осмотрел свои колени, торчащие из прорех, но упрямо мотнул головой:

— Ну и пусть бегут! Я же не для себя ищу, а для них!

Он с такой непоколебимой, взрослой серьёзностью указал пальцем на Юрико и Мико, что даже Мико не выдержала — её краешки губ дрогнули, и она беззвучно, плечами, зажмурившись, рассмеялась вместе с Кохэку.

— Лучше съешь ещё рыбы, — сказала она, подвигая Хинате тарелку с добавкой. — Тебе расти надо.

Сома вернулся поздно, когда лампа уже чадила, а «сваха» спал, уткнувшись носом в сахарный мешок. Брат разделся в темноте, со стуком отстегнул протез, прислонив его к фанерной перегородке, и тяжело опустился на циновку.

В комнате пахло остывшим чаем, горьким табаком Сомы и полыньёю — тонким, едва уловимым следом Нанами Като.

Юрико лежала с открытыми глазами, слушая ровное дыхание Мико рядом. Она думала о камне. О большом, сером блоке, который скоро поднимется над красно-серой землёй школьного холма. На нём высекут имена. И камень будет стоять на ветру, омываемый дождями, и говорить за тех, у кого отняли голоса.

Она вспомнила слова матери про «человека с машиной». Вспомнила взгляд Мико. Сердце Юрико забилось сильнее, стуча в грудную клетку изнутри. Мико заметила чужой интерес, заметила Рена, но оставалась абсолютно, кристально слепой к тому, что происходило в полуметре от неё, на этой самой циновке.

Юрико повернулась на бок, прижав ладонь к груди. Шрамы на левой ладони молчали. Она закрыла глаза, медленно погружаясь в сон, под такой-же

медленный, мерный шум ночного океана, бьющегося о зазубренные скалы Мабуни.

Глава 18. Апрельский дождь

В тот день шёл дождь. Он покрывал Окинаву серой, невесомой водной взвесью. Этот дождь не походил на яростные зимние штормы; он был тихим, бесконечным и до того мелким, что казался не каплями, падающими с неба, а самым воздухом, который внезапно стал осязаемым, сырым и солоноватым. Он стирал границы: холмы растворялись в небе, мыс Киян уходил в свинцовое море океана, и весь остров казался погружённым в прозрачную, тёплую речную глубину. Листья панданусов не шумели под этим дождём, а лишь тяжелели, роняя воду в красную глину с глухим, редким стуком, похожим на удары чётков.

Ранним утром из Мавасиасато выехал старый армейский грузовик — тёмно-зелёный «Студебеккер» с ободранными бортами, раздобытый через инженерный батальон не без молчаливого содействия Уми Санчес. Машина тяжело переваливалась на ухабах, утопая колёсами в размокшей колее, державшей путь на самую южную оконечность острова — к Итоману, в деревню Ихара.

В кузове грузовика, закреплённый толстыми пеньковыми канатами, лежал камень.

Это был местный коралловый известняк — хрупкий на вид, но упрямый, пористый костяк самого острова. Старик Горо Като, отец Нанами, искал его две недели среди обломков разрушенных стен Сюри. Этот камень помнил море, из которого поднялся тысячи лет назад, и войну, которая опалила его серой гарью. Горо вытесал из него строгий четырёхгранный столб высотой чуть выше человеческого роста. Три его стороны остались шершавыми, сохранившими следы ракушек и древних коралловых пор, но лицевая грань была выровнена и отполирована до матового, шелковистого блеска. Каждый иероглиф старик высекал вручную, оставляя внутри знаков крошечные, белые сколы, похожие на крупницы летающего льда.

Сам Горо ехал тут же, в кузове. Он сидел на низком ящике, положив на колени накрытый брезентом мешок с резцами и тяжёлой киянкой. Его руки — узловатые, с потемневшими от въевшейся известковой пыли ногтями — лежали неподвижно, как два остывших камня. Рядом с ним, кутаясь в наброшенную на шёлковое кимоно куртку Сомы, сидела Нанами. От сукна пахло рыбой и сырой древесиной, и этот будничный запах рынка Макиси казался сейчас единственной надёжной вещью в мире, заполненном серой влагой.

Позади грузовика, держась на расстоянии, чтобы не ловить колеями жидкую глину, ехал «Виллис». За его рулём молча сидел Рен Кимура,

установившись в лобовое стекло, по которому лениво ползали дворники. В кузове джипа, укрывшись под тентом, сидели Юрико, Мико, Кохэку и Хината.

Мальчик притих. Обычно говорливый, наперебой расспрашивающий обо всём, что видел у дороги, теперь он просто прижимался плечом к Юрико и смотрел на проплывающие мимо мокрые папоротники. Накануне Юрико долго пыталась объяснить ему, куда и зачем они едут, подбирая простые, не страшные слова, но Хината, кажется, понял всё по-своему — по той особой, взрослой тишине, которая на целую неделю поселилась в их фанерном доме.

Воздух в кузове джипа был плотным от влаги. Мико сидела прямо, положив руки на колени. Её лицо казалось высеченным из того же известняка, что лежал в первой машине.

— Страшно возвращаться, — тихо, почти одними губами произнесла Юрико, глядя, как туман цепляется за вершины придорожных баньянов. — Год прошёл, Мико. А кажется, что стоит закрыть глаза — и опять этот запах...

Мико не повернула головы, но её пальцы на коленях чуть заметно сжались.

— Страшно, — эхом отозвалась она. — Может, это и правильно, что мы согласились и не стали ставить его в Сюри. Помнишь, как тот чиновник из префектуры сказал? «Школьный холм нужно расчистить под новые бараки, а память должна быть в центре»... Наверное, он был прав.

— Нет, — Юрико покачала головой. — Не бараки — школа. И Сэйко с Усаги сказали то же самое. Пусть школа будет школой. Там наш тент, там дети учатся читать, спорят из-за карандашей, Хината вон гильзы собирает... Там должна быть жизнь. А памятник... да, памятник должен стоять у пещеры. Там, где осталась их тишина.

Мико промолчала, но едва заметно кивнула. Школа для живых. Пещера — для вечности.

Третий хирургический бункер в Ихаре встретил их мёртвым, застывшим покоем. Земля здесь была изрыта воронками, в которых скопилась ржавая вода. Сама гама — естественная пещера в толще известняка — зияла среди зарослей дикого пандануса, как чёрная, незаживающая рана. Вход в неё был частично обрушен взрывами, потолок внутри чернел от старой копоти. Здесь до сих пор пахло иначе, чем во влажных джунглях: сквозь аромат мокрой зелени пробивался тяжёлый, холодный запах горелой извести, ржавого железа, если оно может пахнуть, и того удушливого фосфорного дыма, который въелся в пористый камень, казалось, на столетия.

У входа уже собрались люди. Их было около полусотни. Они стояли на вытоптанной глиняной площадке под чёрными бумажными зонтами или просто набросив на головы куски брезента. Здесь были родственники погибших — матери в тёмных довоенных кимоно, старики-рыбаки из соседнего городка

Итоман, пришедшие в своих плетёных шляпах. Чуть впереди стояли выжившие девочки из отряда Химэюри — Сэйко, Усаги и ещё несколько учениц, которых удалось разыскать в дальних лагерях беженцев. Они стояли тесной группой, плечом к плечу, в своих чистых, заплатанных рабочих комбинезонах. Никто не разговаривал. Слышался только монотонный, усыпляющий шорох дождя по листьям.

Грузовик остановился у края площадки. Двигатель фыркнул и затих. Сомы первым перемахнул через борт, глухо стукнув деревянным протезом о мокрую землю. Глина тут же облепила подошву, но он, не обращая внимания на скользкую жижу, вместе с отцом Нанами и тремя местными мужчинами взялся за канаты.

Камень сгружали медленно, на руках. Слышно было, как тяжело, с хрипом дышат мужчины, как протез Сомы со скрипом уходит в податливую красную почву. Наконец столб встал на заранее подготовленное место — небольшое возвышение из диких камней прямо перед тёмным зевом пещеры.

Старик Горо подошёл к кенотафу, бережно снял укрывавший его брезент и отступил на шаг.

Дождь мгновенно омыл серую поверхность известняка. Пористый коралловый камень стал жадно впитывать влагу, темнея на глазах. От этого его текстура проявилась чётче: тонкие прожилки розоватого и голубоватого оттенков, скрытые до этого сухой каменной пылью, проступили на лицевой грани, словно вены на запястье.

Наверху столба, крупно и глубоко, были высечены слова: «Памятник отряду Химэюри».

Ниже шли имена. Списки, которые Сэйко и Усаги собирали по крупцам на обрывках картонных коробок, старик Горо перенёс на камень с абсолютной, покорной точностью. Строка за строкой. Имена учениц, имена преподавателей. Сто пятьдесят три имени тех, чью гибель удалось подтвердить, тех, кто остался здесь, в темноте их последнего убежища, под атакой фосфорных гранат, и тех, кто погиб позже на скалах Мабуни. В самом низу, у подножия, тонким шрифтом тянулась последняя строка: «Остальные имена неизвестны. Да не будут они забыты».

Люди начали подходить к памятнику. Медленно, по одному. Здесь не было речей, не было официальных представителей американской администрации или речей префектуры. Это было их, окинавское, тихое горе, не нуждавшееся в переводчиках.

Пожилая женщина в чёрном кимоно опустилась на колени прямо в грязь. Её руки, дрожащие от горя, коснулись высеченных знаков. Она искала имя дочери. Найдя, она прижала ладонь к камню и замерла, опустив голову. Дождь

стекал по её седеющим волосам, падал на известняк, и казалось, что камень пьёт эти слёзы, разделяя их напополам с матерью.

Усаги и Сэйко подошли вместе, держа в руках скромные букеты диких цветов — пурпурные колокольчики хайбисукасу и розовые тинсагу, собранные утром у дороги. Они положили их к подножию, туда, где коралловый столб уходил в землю. Их лица были бледными, но спокойными. В их молчании не было прежнего лагерного надрыва; это была тишина людей, которые выполнили свой долг перед мёртвыми.

Юрико сделала шаг вперёд. Мико шла на полшага позади.

Когда Юрико приблизилась к кенотафу, ей показалось, что из тёмного провала пещеры потянуло тем самым невыносимым, удушливым жаром июня сорок пятого. Сердце застучало в ушах — быстро, дробно. Ей стало страшно, по-настоящему, до дрожи в коленях. Ей показалось, что если она сейчас обернётся, то увидит серые армейские одеяла, услышит стоны раненых и капающую с потолка грунтовую воду.

Она протянула левую руку и положила ладонь на мокрую грань столба.

Известняк был холодным. Но под этой прохладой Юрико вдруг ощутила едва заметное, глубокое тепло земли, согретой апрельским дыханием. Её шрамы — бледные, похожие на лепестки лилии — прижались к шершавой поверхности кораллов. И в это мгновение страх отпустил её. словно те, кто кричал в темноте, те, кто задыхался от дыма в этой игре, наконец обрели свой дом здесь, в этом камне. Они больше не были заперты во тьме под обвалившимся потолком. Теперь их имена стояли на свету, омываемые чистым апрельским дождём.

«Мы вернулись, — подумала Юрико, закрывая глаза. — Мы поставили его здесь. Пусть школа будет для детей. А вы оставайтесь тут, под охраной этого острова».

Мико стояла рядом. Она не прикоснулась к известняку. Она смотрела на столб прямо, строго, словно часовой, который наконец дождался смены караула и передаёт пост. Её лицо было мокрым от дождя, но глаза оставались сухими и ясными.

Маленький Хината выскользнул из-под парашютного шёлка Кохэку. Он подошёл к камню совсем близко, присел на корточки и бережно положил на бурую глину крошечный, измятый цветок дикой ромашки, который всё это время прятал в кулаке. Цветок лёг прямо у последней, безымянной строки. Капля дождя упала в его сердцевину, заблестев, как маленькая хрустальная грань.

К полудню люди стали расходиться. Серая водная пелена становилась гуще, превращаясь в сырой туман, который медленно наползал со стороны

океана. Люди уходили молча, небольшими группами, унося с собой свои чёрные зонты. Площадка перед пещерой пустела, возвращаясь к своему вековому, природному одиночеству.

Юрико и Мико шли к «Виллису» последними. Глина тяжело хлюпала под их деревянными гэта. Сома и Нанами уже усаживали Хинату в кабину грузовика.

Остановившись у подножия холма, Юрико обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на памятник.

И тогда она увидела его.

Он стоял поодаль, метрах в двадцати от пещеры, у самой кромки джунглей. Минато Кобаяси.

Учитель стоял под раскидистыми, тяжёлыми ветвями огромного старого баньяна, чьи воздушные корни свисали до самой земли, похожие на серые струи застывшего ливня. На нём была всё та же выцветшая, блёкло-серая юката, промокшая насквозь и облепившая его худое, согбенное тело. Он был без зонта. Его левая, парализованная рука безвольно висела в грязной суконной перевязи, ставшей от воды почти чёрной. Правая рука судорожно, до белизны в костяшках, сжимала бамбуковую трость, уходившую в жижу.

Вода текла по его лицу — по глубокому, багровому шраму, оставленному осколком, по впалым щекам, затекая за дужки круглых очков. Одно стекло было разбито, и сквозь водяную плёнку, покрывавшую трещины, его правый глаз казался огромным, мутным и бесконечно одиноким.

Он не подходил к памятнику. Как будто не смел переступить невидимую черту между лесом и пещерой. Между жизнью и смертью.

Юрико видела, как среди уходящих людей медленно шла его сестра, Хиса. Она время от времени оглядывалась на брата, её лицо под бумажным зонтом было полно тревоги и тихой, привычной боли. Но она не подходила к нему. Она знала, что здесь, перед этой гамой, её брат должен стоять один. Это было его место. Его личный, пожизненный круг ада.

Кобаяси не плакал. В его неподвижном взгляде, устремлённом на коралловый столб, не было ни раскаяния, ни мольбы о прощении, ни страха. Там была только покорность. Земля Окинавы не приняла его под свой изумрудный саван, оставив бродить среди живых, как сэнсэй, которому нет места ни в разрушенной школе, ни в безымянной могиле. Он был прикован, как и все они — выжившие, к этому острову памятью, которая была тяжелее любого надгробия.

— Пошли, Юрико, — тихо сказала Мико, коснувшись её локтя. Её голос был ровным, лишённым осуждения, — голос врача, фиксирующего неизбежное.

Юрико кивнула. Они сели в «Виллис». Рен Кимура, не говоря ни слова, включил передачу. Джип дёрнулся, колёса зашли со свистом в жидкой глине, и машина медленно покатила прочь по разбитой колее, удаляясь от Третьего хирургического бункера.

Юрико сидела в кузове, прижавшись к Мико, и смотрела назад сквозь косую сетку апрельского дождя.

Там, позади, в сером тумане таяли два силуэта.

Один — светлый, строгий столб из кораллового известняка, упрямо возвышающийся перед чёрной пастью пещеры. Вечный, безмолвный хранитель имён, впитавший в себя соль океана и слёзы матерей.

И недалеко от него, под тяжёлыми ветвями баньяна — неподвижная, тёмная фигура человека с бамбуковой тростью. Человека, оставшегося стоять под дождём, который никогда, до конца его дней, не сможет смыть с него этот остров.

Грузовик впереди прибавил ход, его кузов скрылся за поворотом холма. Из кабины «Студебеккера», пробиваясь сквозь ровный гул мотора и шорох воды, донёсся тонкий, неровный голосок Хинаты. Мальчик тихо, без запинки, напевал «Тинсагэну хана» — песню о цветах бальзамина, которыми красят ногти, и о словах родителей, что навсегда откладываются в сердце.

Юрико закрыла глаза. Шрамы на её левой руке больше не горели. Всё встало на свои места. Мир вокруг не стал прежним, он не стал справедливым или добрым. Но он обрёл свою правильную, тяжёлую земную гравитацию. Как встаёт на место камень, когда его наконец привозят туда, где он должен стоять вечно.

Глава 19. Предложение

После установки кенотафа в Ихаре время на Окинаве стало течь иначе — не бешеными, рваными рывками, как в военные месяцы, когда каждый рассвет казался украденным у смерти, а тяжело, вязко, словно остывающая лава. Дни складывались в недели, недели — в долгие месяцы, и к январю тысяча девятьсот сорок восьмого года остров принялся медленно, с тихим стоном, обрастать новой кожей.

Школа в Мавасиасато тоже изменилась. Брезентовый тент, когда-то насквозь пропитавшийся американским машинным маслом, гудевший от удушливой летней жары и иссечённый тайфунами, наконец исчез. На его месте поднялось настоящее здание — длинный деревянный барак с покатою крышей из листов гофрированного железа, которые во время частых зимних ливней глухо и мерно рокотали, напоминая шум далёкого прибоя. В широких оконных проёмах не было стёкол — их заменяла плотная, промасленная бумага, сквозь которую зимний свет проникал внутрь мягким, рассеянным янтарным маревом.

Внутри пахло свежей сосновой смолой, подсыхающей дранкой и чистым, едва уловимым ароматом детского пота. Пол больше не был просто утопанной красной глиной: Сом вместе со стариками вымостил его ровными деревянными плахами, и этот настил тихо поскрипывал под шагами. Вместо снарядных ящиков теперь тянулись длинные, гладко оструганные скамьи. Но главным было другое. В воздухе больше не витал удушливый запах фосфора и пепла; теперь здесь царила тонкая, невесомая, белая пыль настоящего школьного мела. Этот запах чистоты и новой жизни окончательно вытеснил войну из этих стен.

Дети приходили теперь не только из Мавасиасато. Их приводили по разбитым колеям из дальних, полуослепших от горя деревень — Нисихары, Яэсе, даже из самого Итомана. Учеников стало уже больше восьмидесяти. Хината, которому шёл девятый год, заметно вытянулся, окреп и округлился в плечах. Из испуганного лесного зверька, судорожно сжимавшего в кулаке стреляные гильзы, он превратился в угловатого, гордого старосту младшего класса. Теперь он лично следил за тем, чтобы малыши степенно мыли ноги перед входом и не опаздывали к началу занятий.

Рен Кимура приехал во вторник, когда над островом встал пронзительный, сухой январский ветер, пригнавший прохладу с Восточно-Китайского моря.

Его тёмно-зелёный «Виллис» замер на привычном месте под старым баньяном. Воздушные корни дерева за эти годы опустились так низко, что казалось они оплетали капот машины подобием живой, серой клетки. Рен не вышел из кабины сразу. Он сидел за рулём, подняв высокий воротник форменной американской куртки, и сквозь приоткрытую дверь школы смотрел на Юрико.

В классе подходил к концу урок чистописания. Мерный, убаюкивающий скрип мела по грифельной доске сливался со свистом ветра, путавшегося в кронах панданусов. Рен достал сигарету, щёлкнул зажигалкой и затянулся. Дым медленно таял в холодном воздухе. Докурив до самого фильтра, он привычно прижал огонёк к подошве тяжёлого армейского ботинка и спрятал окурки в карман. Он никогда не бросал мусор на окинавскую землю — это стало его негласным, строгим обетом.

Когда прозвучал удар в колокол — старую медную гильзу, подвешенную у входа, — класс взорвался весёлым шумом. Дети хлынули наружу бурным, разноцветным потоком, шлёпая плетёными сандалиями по многочисленным лужам. Хината выскочил одним из первых. Увидев джип, он резко затормозил, на мгновение вернув себе прежнюю детскую живость, но тут же перевёл дыхание, степенно поклонился и по-мужски, серьёзно произнёс:

— Добрый день, сержант Кимура. Крыша в школе больше не течёт, мы с дядей Сомой на прошлой неделе закончили класть дранку.

— Добрый день, штурман, — Рен слабо улыбнулся, но эта улыбка осталась бледной тенью на его лице и не коснулась глаз. Он залез в карман и протянул мальчику плоскую жестяную баночку. — Держи. Американские леденцы. Только зубы не сломай.

Хината просиял, прижал жестянку к груди, но Рен мягко положил руку ему на плечо:

— Послушай, штурман... Мне нужно поговорить с Юрико-сан. Наедине. Найди Мико-сан и попроси её подождать на улице. Хорошо?

Мальчик внимательно, с неожиданной взрослой проницательностью взгляделся в заострившееся лицо переводчика, безошибочно считав глубокую, затаённую тревогу. Коротко кивнув, он бросился обратно в барак.

Через минуту класс опустел. В просторной комнате, залитой холодным январским светом, остались только двое.

Рен стоял у окна, держа фуражку в руках. Юрико вдруг с отчётливой, болезненной ясностью заметила, как сильно он изменился. В его жёстких тёмных волосах на висках густо проступила ранняя, сухая седина. Черты лица сделались резкими, угловатыми, словно изголодавшимися по покою. Из них окончательно выветрилась та сытая американская беззаботность, с которой он когда-то протягивал плитки шоколада беженцам в лагере Симабуку. Перед ней стоял вымотанный солдат, чья личная война тоже подошла к какому-то невидимому обрыву.

— Ты выглядишь уставшей, Юрико. У тебя мел на щеке, — он попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой.

— Нас уже восемьдесят, Рен-сан. Сона не успевает колотить парты.

Он помолчал, разглядывая свои армейские ботинки. Затем резко поднял голову.

— Юрико, — выговорил он. Его голос прозвучал так глухо, будто в лёгких не хватало воздуха. — Пришёл приказ. Моя часть демобилизуется. Я возвращаюсь домой. В Сакраменто.

Пространство между ними в ту же секунду сделалось плотным, неподвижным, как рюккский известняк. Одинокая меловая пылинка, кружившая в косом луче света, словно застыла на месте, превратившись в крошечную точку в застывшем куске янтарного льда.

— Когда? — тихо спросила Юрико. Её голос остался ровным, но два бледных шрама-лепестка на левой ладони вдруг отозвались резким, колющим холодком, будто предупреждая о новой потере.

— Через две, может, три недели. Транспорт уходит из порта Нахи прямо в Сан-Франциско. — Рен сделал шаг вперёд. Его пальцы судорожно сжали край

грубой деревянной парты. — Юрико, послушай меня. Ты можешь поехать со мной. В Америку.

Это слово — «Америка» — упало между ними, как тяжёлый, металлический предмет, упавший с небес. Далёкая, нереальная страна из хрома, неоновых огней, бетонных небоскрёбов и пахнущих солнцем яблок, существующая где-то по ту сторону бездонного океана. Место, где никогда не было фосфорных гранат, удушливых пещер, похоронных костров и липкой красной глины. Страна, где в каждой аптеке есть пенициллин, где дети ходят в каменные школы с настоящими стёклами и меловыми досками. Юрико попыталась представить себя там — в чистом платье, с книгой под мышкой, входящую в светлый университетский зал. Картинка получилась яркой, нарисованной чужими красками. Она была похожа на обложку американского журнала, который Рен однажды принёс Хинате с обёрткой от жвачки.

Юрико смотрела на него, прижав к груди стопку детских тетрадей, и не могла сделать вдох.

— Я знаю, о чём ты думаешь, — быстро, сбиваясь и бледнея, заговорил Рен. — Военные законы беспощадны, комендатура окинавцев на транспорт просто так не пустят. Но мы можем расписаться. Формально, понимаешь? Только по документам, на бумаге. Как жена американского военнослужащего ты получишь законную визу и место на корабле. Там, в Калифорнии, есть большие японские общины. Ты сможешь учиться в настоящем университете для женщин. Станешь настоящим учителем. Там огромные библиотеки, лаборатории... Ты забудешь этот пепел, Юрико. Я... я ничего не потребую от тебя взамен. Ты будешь абсолютно свободна. Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности.

Он смотрел на неё с такой отчаянной, обнажённой мольбой, что Юрико сделалось физически больно. В его глазах не было жалости или благотворительности. Казалось, этот человек любил её — преданно, долго и безнадёжно, с того самого дня, когда впервые увидел её, исхудавшую, в грязной школьной матроске под рваным брезентом. Он предлагал ей не просто спасение. Он предлагал ей переписать судьбу с чистого листа.

— Я не прошу тебя бросить тех, кого ты любишь. Я прошу тебя дать себе шанс...

Юрико опустила взгляд на свои пальцы, испачканные белым мелом. Руки, которые выводили буквы для сирот, руки, которые до крови копали мёрзлую землю под батат, руки, которые прикасались к шершавому коралловому камню в Ихаре. Она закрыла глаза, и перед внутренним взором пронеслись не небоскрёбы Сан-Франциско, а тихий шелест листьев пандануса над Третьим бункером.

— Я не могу, Рен, — произнесла она. Каждое слово давалось ей с таким трудом, словно она вырывала его из собственного тела вместе с кровеносными сосудами. — Я не могу поехать.

Рен резко выдохнул, его пальцы на парте побелели ещё сильнее.

— Почему, Юрико? Оглянись вокруг! Остров превращают в сплошной аэродром, здесь скоро начнут строить военные базы. Тут не будет ничего, кроме памяти о мёртвых!

— Я не могу оставить маму, — она подняла голову, глядя ему прямо в душу глазами, в которых стояла огромная, вековая окинавская печаль. — Сона женится на Нанами, они уедут строить свой дом. Мама останется одна. Я не могу бросить Хинату — он только-только перестал кричать по ночам и звать мёртвых в лесу. И я... я никогда не смогу оставить Мико.

Последнее имя прозвучало в пустом бараке как чистый, звенящий удар камертона. Окончательно и бесповоротно.

Рен Кимура медленно опустил голову. В этом долгом выдохе умерла его последняя, безумная надежда. Он был умным мужчиной и слишком хорошо знал силу этой проклятой окинавской гравитации: эти выжившие люди вросли корнями друг в друга так глубоко и страшно, что оторвать одного означало убить остальных. А то, как Юрико произнесла имя Мико — с какой звенящей, защищающей интонацией, — объяснило ему то, о чём он давно догадывался, но малодушно гнал от себя прочь.

— Я понял, — тихо сказал Рен. Он медленно надел фуражку, натянув лакированный козырёк низко на лоб, чтобы скрыть глаза. — Я подвезу вас до деревни. Собирайтесь.

— Нет, — Юрико качнула головой, делая шаг назад, в тень. — Спасибо вам за всё, Рен-сан. Но мы пойдём пешком.

Он не стал спорить. Он просто молча повернулся, вышел из школы, рванул рычаг стартера, и «Виллис», взревев мотором, сорвался с места, оставив после себя лишь сизый шлейф бензинового дыма и поднятую ветром пыль. И Юрико вдруг с пугающей ясностью поняла: он никогда не будет там своим. Человек с японскими глазами и кровью навахо в венах навсегда останется пленником этого перекрёстка, этого острова.

Обратный путь до Мавасиасато Юрико проделала внутри невидимого, толстого стеклянного купола.

Океанский ветер швырял ей в лицо сухую пыль, рвал подол старого, перешитого, лёгкого пальто, но она ничего не чувствовала. Хината бежал чуть впереди, то и дело оглядываясь, прыгал на одной ноге и восторженно болтал о том, что старик Кэндзи обещал вырезать ему из бамбука воздушного змея, а в жестяной банке от сержанта Кимуры леденцы пахнут настоящей земляникой.

Юрико не слышала его. Она переставляла деревянные гэта механически, словно заводная кукла.

Она смотрела на дорогу под ногами и видела в красной глине следы — свои, Мико, Хинаты, наложенные друг на друга за месяцы этих ежедневных переходов. Тропа от школы до дома была протоптана так глубоко, что казалась руслом высохшего ручья. Они проложили её сами. Босиком, в дождь, по колено в жидкой жиже. И теперь эта колея держала их, как русло держит воду: не давая растечься, не давая сбиться.

Юрико думала: *если бы я уехала в Америку, кто бы прошёл по этой тропе завтра? Хината — один? Мико — одна?* И в этом вопросе, в его простой, детской ясности, не было ни жертвенности, ни героизма. Было только тёплое, тяжёлое, как батат в руке, ощущение: *мне нужно быть здесь. Не потому что я должна. А потому что без меня этот мир — со всеми его трещинами и дырами в крыше — не будет полным.*

Мико шла справа, чуть позади. Она несколько раз бросала на подругу быстрые, цепкие взгляды, пытаясь пробить эту внезапную, мертвенную стену молчания.

— Что он сказал тебе, Юрико? — спросила Мико, когда они миновали развилку у старого моста.

Юрико не повернула головы.

— Юрико, что случилось? На тебе лица нет. Это из комендатуры? Нашли новые списки погибших? Из Сюри?.. Что-то с Реном?

Юрико упорно молчала. Её тишина была такой осязаемой, густой и тяжёлой, что казалось, сам океанский ветер натёкался на неё и обрушивался оземь. Мико тяжело вздохнула и больше до самой деревни не проронила ни слова.

Вечер упал на Мавасиасато стремительно, затопив узкие проходы между фанерными лачугами чернильной темнотой и горьким, сизым дымом от сырых дров.

За ужином Юрико так и не притронулась к своей порции варёного батата и жидкого супа. Она просто сидела, глядя на огонь в очаге неподвижными, стеклянными глазами. Кохэку, собиравшая со стола посуду, бросила на дочь долгий, мудрый и полный тихой тревоги взгляд. Когда Хината после еды сунулся было к двери, чтобы позвать Мико посмотреть на звёзды, Кохэку мягко, но непреклонно перехватила мальчика за плечо.

— Пойдём-ка, штурман, поможешь мне перебрать сухую фасоль у соседа, — тихо, но властно сказала мать. — Не мешай им. Девушкам нужно побыть вдвоём.

Мико молча скользнула за дверь. Юрико вышла следом, и зимний воздух тут же захлопнулся за ними, как тяжёлая створка. Они сели рядом на холодный деревянный настил порога.

Ночь была безлунной и огромной. Звёзды над Окинавой горели остро, как крупницы колотого льда, рассыпанные по чёрному бархату. Воздух пах солью близкого океана и остывающей глиной. Мико не торопила подругу. Она сидела идеально прямо, сложив руки на коленях, сливаясь с ночными тенями и терпеливо ожидая, когда стеклянный купол вокруг Юрико наконец расколется.

— Рен уезжает в Америку, — наконец произнесла Юрико. Голос её прозвучал сухо, плоско, будто она зачитывала чужой официальный документ. — Его часть демобилизуют. Скоро. Через две... или три недели корабль.

Мико не шевельнулась, но Юрико кожей почувствовала, как её тело рядом едва заметно, струной натянулось в темноте.

— Он предложил мне поехать с ним, — продолжала Юрико, неотрывно глядя в непроглядную ночную темень джунглей. — Сказал, что мы можем расписаться... формально, только ради документов. Чтобы я получила визу. В Калифорнию. Сказал, что я смогу учиться в университете, получу диплом, стану настоящей учительницей. Там солнечно. Там нет этой грязи.

Молчание Мико сделалось неподъёмным. Оно легло на плечи Юрико, как мешок с мокрой прибрежной галькой. Мико смотрела перед собой, переваривая услышанное, раскладывая всё по своим внутренним, строгим медицинским полочкам. Это было предложение спасения. Настоящий, чистый билет с острова-кладбища в сияющий новый мир.

— Я отказалась, — выдохнула Юрико.

Мико медленно повернула голову. Её глаза в слабом полумраке из окна блеснули двумя холодными искрами.

— Почему? — спросила она. Одно короткое слово. Без упрёка, без радости. Простой вопрос врача, требующего анамнез.

Юрико резко повернулась к ней. Сердце в её груди колотилось так сильно, что казалось, оно вот-вот разобьёт ребра. Вся эта недосказанность, вся глухая, невыплаканная боль, копившаяся в ней с июня сорок пятого года, вдруг хлынула к горлу горячей волной. Она смотрела на Мико — на её коротко стриженные волосы, на её резкие, худые скулы, на эту молодую женщину, которая когда-то силой вытащила её из темноты пещеры, заставила отпустить керамическую гранату из трясущихся рук, которая заново сшивала их разорванную жизнь суровыми парашютными нитками. Юрико любила её так отчаянно, так глубоко и безнадежно, что это чувство давно заменило ей воздух. И именно поэтому она должна была совершить то, что задумала.

— Потому что моё место здесь! — голос Юрико неожиданно сорвался, дав глубокую трещину. — У меня здесь мама. Сомы. Хината. У меня здесь похоронены подруги, понимаешь? Я намертво приросла к этой проклятой красной глине, Мико! Я не смогу дышать в их Калифорнии...

Она судорожно сглотнула, собирая всю свою угасающую волю в один раскалённый, звенящий комок, и выкрикнула то самое, страшное, что жгло ей сердце весь путь домой:

— Но ты... Мико! Ты должна уехать вместо меня!

Мико застыла, будто её ударили наотмашь тяжёлым бревном.

— Что ты такое говоришь, Юрико?..

— У тебя здесь никого не осталось! — слова покатались из Юрико безумным, срывающимся потоком, она говорила навзрыд, захлёбываясь, боясь остановиться, потому что знала: если замолчит — просто закричит от невыносимой боли. — Твой дом в Сюри сожжён дотла! Твои родители погибли под бомбами! Этот остров дал тебе только смерть, кровь, карболку и грязь! Ты не должна гнить в этой фанерной лачуге до конца дней из-за меня! Кимура — хороший, благородный человек. Он надёжный. Он... он всё поймёт, если я попрошу его. Он сделает эти документы на твоё имя! Ты умная, ты прекрасно знаешь английский, ты станешь настоящим врачом в Америке! Ты выучишься, ты спасёшь сотни жизней! Ты должна жить. Ты должна поехать, Мико. Слышишь меня?! Живой, настоящей жизнью, а не хоронить себя заживо в этих могилах ради меня! Я... я буду писать тебе. Каждую неделю. Клянусь тебе, каждую неделю!

Юрико замолчала, судорожно хватая ртом прохладный ночной воздух. Крупные, горячие слёзы, которых она не замечала, градом катились по её щекам, обжигая кожу. Она только что добровольно, собственными руками, попыталась вырвать из своей груди самое дорогое и живое, что у неё оставалось — лишь бы спасти её от призраков этого острова. От самой себя.

— Поезжай, Мико... пожалуйста, поезжай... — тихо повторяла она.

Мико молчала. Она смотрела на рыдающую Юрико так, словно видела её впервые. Её взгляд медленно скользил по мокрым щекам подруги, по её дрожащим губам, по рукам, судорожно впившимся в ткань юбки. И в это мгновение строгий, холодный врач внутри Мико, привыкший всё анализировать и прятать эмоции под глухой хирургический халат, исчез. Её защитная железная кираса с грохотом рухнула в окинавскую грязь.

Мико вдруг поняла всё.

Она увидела не просто слова Юрико — она заглянула в ту колоссальную, пугающую бездну любви и жертвенности, из которой эти слова были рождены. Она поняла, почему Юрико замыкалась в себе при каждом упоминании Рена.

Она поняла, почему та без раздумий выбросила в океан свой единственный билет в рай. Юрико предлагала ей, Мико, чужого влюблённого мужчину, чужую блестящую Америку и чужое спасение — только бы Мико была жива, сыта и счастлива. Мико, которая никогда не умела смотреть на себя со стороны, наконец увидела своё истинное отражение. И этим отражением была она — Юрико.

— Глупая... — Голос Мико надломился, превратившись в тихий, хриплый, дрожащий шёпот. — Какая же ты глупая, Юрико.

Мико резко подалась вперёд. Она не стала ничего объяснять, не стала спорить или читать нотации. Это был отчаянный, порывистый и почти яростный бросок. Мико обхватила Юрико руками и прижала к себе с такой нечеловеческой, костоломной силой, что у той разом перехватило дыхание. Тонкие пальцы мёртвой хваткой впились в ткань пальто на спине Юрико, словно она панически боялась, что подруга прямо сейчас растворится, исчезнет, улетит вместе с океанским январским ветром в беспросветную ночную тьму.

Мико уткнулась лицом в мокрую от слёз, горячую шею Юрико и замерла. В этом объятии не было и не могло быть слов — человеческие слова в эту минуту больше ничего не весили.

Юрико на мгновение ослепла от хлынувших чувств. Она закрыла глаза, уронила голову на твёрдое плечо Мико, и её собственные руки — робко, неуверенно, а затем со всей накопившейся за годы отчаянной силой — намертво сомкнулись на спине подруги.

Казалось, в этот момент сработало какое-то древнее, магическое притяжение земли: две тонкие девичьи фигуры на пороге фанерного барака переплелись так крепко и неразрывно, что в густой ночной темноте они казались единым существом, пустившим корни сквозь деревянный настил глубоко в пористый известняк Окинавы. Две уцелевшие девочки из Третьего хирургического бункера, потерявшие весь свой прежний мир, но вопреки всему нашедшие друг друга среди пепла.

Январский ветер свирепо шумел в зарослях дикого пандануса, гнал по чёрному небу тяжёлые, рваные тучи со стороны океана, но на маленьком деревянном пороге было пронзительно тихо, жарко и надёжно. И впервые за долгие, мучительные годы Юрико не думала ни о призраках прошлого, ни о мёртвых, оставшихся в темноте. Она просто дышала в такт, чувствуя, как сильное, живое чужое сердце бьётся прямо напротив её собственного.

А внизу, под деревянным настилом, в коралловом известняке, что-то тихо и удовлетворённо хрустнуло. Остров втянул её в себя, принял, запечатал. И океанский ветер, разбивавшийся о невидимый купол их объятий, вдруг сменил направление, унося запах соли и глины прочь — в пещеры Ихамигама, где больше никто не плакал.

Глава 20. Письма

Свадьба Мико и Рена прошла так тихо, словно её вывели на полях истории мелким, почти незаметным почерком.

В ней не было ни торжественного обмена чашечками сакэ, ни пышных шёлковых кимоно, расшитых сосновыми ветвями, ни чинных процессий под бумажными фонарями. Всё уместилось в маленькой, наспех побелённой известью комнате в здании американской военной комендатуры. В воздухе стоял тяжёлый, стойкий дух свежей масляной краски, дезинфекции и дешёвого табака. Военный капеллан — седой, близорукий американец с усталыми глазами человека, видевшего слишком много смертей, — по-деловому, быстро зачитал короткую формулу на английском языке. Его слова звучали сухо, как шуршание опавших листьев.

Мико стояла в своём единственном хорошем комбинезоне, который Юрико накануне до полуночи выстирывала в реке и разглаживала тяжёлым, раскалённым на углях камнем. Рен был в парадной армейской форме, со строгими, безупречными стрелками на брюках и начищенными до зеркального блеска ботинками. Свидетелями выступили двое совершенно незнакомых солдат из транспортного отдела, которых капеллан просто выцепил из коридора на пару минут. Это была чистая, безупречная транзакция — обмен подписей на свободу, право получить визу и место на океанском транспорте. Они оба знали это. И Юрико, стоявшая у побелённой стены, знала это лучше всех.

Через семь минут капеллан с глухим стуком опустил фиолетовый штампель на плотную бумагу. Мико Нисида стала миссис Кимурой.

Накануне свадьбы Юрико не спала.

Она лежала на циновке рядом с Мико, слушая ровное дыхание подруги, и смотрела в потолок фанерного дома, на котором золотые тени от керосиновой лампы рисовали медленные, текущие узоры. За стеной глухо, с тяжёлым промежутком между ударами, стучал океан.

Мико спала на спине, закинув одну руку за голову. В полутьме её лицо казалось белым, гладким, спокойным — как поверхность камня, к которому больше невозможно прикоснуться. Завтра она наденет чистый комбинезон, распишется в казённом бланке и станет чужой женой на чужом континенте. И вся эта фанерная комната — с запахами батата, керосина и детского пота — останется здесь, на острове, превратившись в память.

Юрико протянула руку в темноте. Её пальцы осторожно, почти не касаясь, легли на запястье Мико — туда, где под тонкой, бледной кожей прощупывался ровный, сильный пульс. Живой. Настоящий. Уходящий.

Мико не проснулась. Но её пальцы во сне слегка шевельнулись и переплелись с пальцами Юрико — привычно, бессознательно, как сплетаются

корни двух деревьев, растущих слишком близко. Она лежала так до рассвета, не смыкая глаз, считая удары чужого сердца, которое завтра уплывёт через океан.

На пирсе в порту Нахи, среди суеты, криков портовых грузчиков и рёва паровых гудков, плакал только Хината. Мальчик, которому шёл девятый год, держался из последних сил, вытягиваясь в струнку, но когда Мико опустилась перед ним на корточки, его лицо исказилось. Он мёртвой хваткой вцепился в рукав её строгого платья, размазывая слёзы по лицу, и заревел — отчаянно, дико, словно его снова оставляли одного в тёмном июньском лесу сорок пятого.

— Не уезжай, Мико-нээ... — задыхаясь, просил он. — Не надо в Америку. Останься с нами.

Мико прижала его к себе так сильно, что мальчик слышал глухой, ровный стук её сердца сквозь плотное сукно.

— Я вернусь, штурман, — тихо, но удивительно твёрдо пообещала она ему в макушку, пахнущую речным мылом. — Как только смогу — вернусь. А ты береги Юрико. Слышишь? Ты теперь главный мужчина в доме.

Юрико стояла рядом, пряча руки в карманах. Она не проронила ни единой слезы. Внутри неё словно образовался огромный, гулкий зал, где ледяным эхом отдавался каждый посторонний звук. Когда Мико выпрямилась и пошла по дощатому трапу, держась за локоть Рена, Юрико не отвела глаз. Она смотрела, как силуэт подруги растворяется в серой массе пассажиров на палубе, и знала: если она сейчас дрогнет, Мико бросит свой холщовый мешок и сойдёт обратно на окинавский берег.

Но океан между ними лёг не просто милями, а невыносимой, звенящей тишиной сердца.

Письма из Калифорнии начали приходить к осени сорок восьмого года.

Специфика работы послевоенной почты была причудливой: конверты могли не приходить месяцами, а потом почтальон из префектуры приносил сразу пачку — пять или шесть штук, перевязанных суровой джутовой нитью. От этих светло-голубых конвертов авиапочты пахло непривычно и сладко: ванилью, незнакомым стиральным порошком, типографской краской и сухим, нездешним солнцем.

Мико исписывала листы мелким, убористым почерком. Она рассказывала о Сакраменто — городе, где не было ни одной воронки от снарядов и ни одного обгоревшего баньяна. Писала о том, как удушливо и сладко пахнут яблоневые сады в долине, и о том, что Рен помог ей устроиться на курсы медицинских сестёр при местной больнице, где американские доктора поражались её подспудному, страшному опыту работы в полевых бункерах.

«Знаешь, Юрико, — писала Мико в одном из первых писем, — здесь в больнице у меня есть собственный стетоскоп. Настоящий, хромированный, с резиновой трубкой. Когда я прижимаю его к чужой груди и слушаю сердце, я каждый раз вспоминаю, как ты спала рядом со мной в палатке Симабуку, и я слышала твой пульс через тонкую стенку циновки. Здесь всё по-другому...»

Внутри конвертов всегда лежали глянцевые чёрно-белые фотографии. На одной из них Мико и Рен стояли на крыльце аккуратного деревянного дома. Рен мягко обнимал её за плечи, а Мико улыбалась — сдержанно, одними уголками губ, но её глаза больше не казались мёртвыми колодцами. На другой карточке Мико сидела у окна с чашкой чёрного американского кофе, а её волосы, отросшие ниже плеч, были уложены в красивую, мягкую волну. На этих снимках они выглядели как настоящая, прочная семья.

«Приезжайте к нам, Юрико, — неизменно писала Мико в конце каждого листа. — Как только это станет возможным, забирай Хинату и приезжайте. Здесь красиво. Здесь тепло. Я жду вас».

Юрико складывала эти письма в старую жестяную коробку из-под английского печенья, которую Рен когда-то подарил Хинате. По ночам, когда деревня засыпала под стрёкот цикад, она доставала тонкие листы и медленно водила пальцами по чернильным строчкам, словно пыталась нащупать пульс подруги через толщу океанской воды. И в полутьме разглядывала фотографии... их фотографии... фотографии Мико.

Глава 21. Пепел

Свадьба Сомы и Нанами, напротив, была настоящей — плотной, шумной, пропахшей перебродившим рисовым авамори и свежей стружкой кипариса.

К октябрю сорок восьмого года дела старшего брата на рынке Макиси окончательно пошли в гору. Его плотницкая артель разрослась, он нанял двоих помощников из числа вернувшихся беженцев, и теперь его тяжёлый верстак стоял не под рваным армейским брезентом, а под прочной жестяной крышей нового просторного ангара. Сомы и Нанами сняли настоящий деревянный дом на окраине восстанавливающейся Нахи — три светлые комнаты с пахнущими сухой травой татами и крошечным внутренним садиком.

Свадьбу сыграли в уцелевшем синтоистском святилище, чьи древние каменные тории чудом выстояли под бомбёжками. Нанами была ослепительно красива в настоящем белом свадебном кимоно с вышитыми серебряной нитью журавлями — её отец закопал этот сундук в землю перед самым началом штурма Сюри и сумел сберечь. Тонкий, розоватый шрам на её левой щеке был искусно припудрен, а в глазах светилась тихая, зрелая радость женщины, которая наконец позволила себе снять траур и вернуться к живым.

Сомы стоял рядом — непривычно строгий, в сшитом на заказ чёрном костюме. Ткань полностью скрывала его увечье, а деревянный протез, который он сам отполировал до зеркального блеска, сегодня почти не скрипел. Он тяжело опирался на бамбуковую трость, но его лицо, обычно хмурое и сосредоточенное, светилось открытой, гордой улыбкой.

Когда священник закончил молитву и гости начали заполнять двор, Нанами подошла к Соме, который тяжело переносил вес с протеза на здоровую ногу. Она молча поправила ему воротник костюма, стряхнув невидимую пылинку. Сомы посмотрел на неё — долгим, тяжёлым взглядом, в котором смешались благодарность и стыд за собственное увечье.

— Прости, — тихо сказал он. — Не могу тебя обнять стоя. Нога не держит. Устала.

Нанами улыбнулась. Она взяла его широкую, шершавую ладонь, поднесла к своей щеке и закрыла глаза.

— Обнимаешь, — ответила она. — Ты просто не знаешь, как.

Праздновали во дворе дома. Сансин звенел без умолку, выводя весёлые, прыгающие окинавские мотивы. Гости шумели, звенели чашками, пахло жареной рыбой и сладкими рисовыми моти. Юрико сидела на невысокой скамье в углу, медленно потягивая остывший зелёный чай и глядя на это буйство возвращающейся жизни как сквозь толщу прозрачной воды.

К ней подошёл мужчина. На вид ему было около двадцати пяти — крепкий, загорелый торговец посудой с рынка Макиси, знакомый Сомы. На нём был светлый, щегольской пиджак, а волосы лоснились от помады.

— Накаяма-сан, верно? — он вежливо поклонился, блеснув золотой коронкой. — Меня зовут Кэндзи Аракава. Ваш брат много рассказывал о вас. Негоже такой прекрасной девушке грустить в стороне, когда играет музыка. Позвольте пригласить вас на танец?

Юрико посмотрела на его протянутую, широкую ладонь. Весь этот свадебный шум, запах алкоголя и чужих духов вдруг показались ей удушливыми и бесконечно далёкими. Она принадлежала совсем другому пространству — миру белого школьного мела, коралловых столбов у тёмных пещер и писем, запечатых в жестяной коробке.

Она мягко, но непреклонно покачала головой, скрывая ладони в рукавах пальто.

— Благодарю вас, Аракава-сан. Но у меня на этот вечер уже есть кавалер.

Она повернула голову и указала на Хинату. Мальчик сидел неподалёку на перевёрнутом ящике из-под овощей, с упоением уничтожая третью порцию глазированных сладостей. На нём была чистая белая рубашка, наглухо

застёгнутая у горла, и купленные Сомой настоящие тёмные брюки со стрелками. Услышав слова Юрико, Хината мгновенно проглотил моти, торопливо вытер рот рукавом и с абсолютно серьёзным, не по-детски строгим выражением лица подошёл к скамье. Он решительно отодвинул плечом удивлённого торговца и протянул Юрико руку.

— Юрико-нээ, пойдём. Я умею танцевать, мне дядя Сомэ показал шаги, — важно произнёс он.

— Молодец, парень. Так держать, — Аракава понимающе рассмеялся и отступил.

Юрико вложила свои пальцы в тёплую, шершавую ладошку мальчика, и они вышли в круг гостей. Десятилетний ребёнок, видевший смерть в лесах, и девятнадцатилетняя учительница, оставившая своё сердце на другом конце земли, кружились под дребезжащие звуки сансина. Хината вёл её бережно и ужасно сосредоточенно, то и дело наступая ей на деревянные гэта и густо краснея от усердия. Юрико смотрела на его намусоленный лоб, на аккуратный пробор в волосах и думала, что это был самый честный и самый чистый танец в её жизни.

Последний аккорд сансина затих. Хината отступил, неловко поклонился и торопливо вытер мокрые ладони о брюки. На мгновение он замер, глядя на Юрико снизу вверх — своими огромными, круглыми, влажными глазами. И Юрико увидела в этом взгляде того самого шестилетнего ребёнка, который однажды вышел из тёмного леса в рваной рубашке на трёх пуговицах и сказал: «Я из леса». Только теперь ему было десять, и он носил брюки со стрелками, и умел танцевать.

Они вернулись в Мавасиасато поздно ночью, когда над холмами повис густой, сырой туман. Кохэку сразу повела засыпающего на ходу Хинату за ширму, а Юрико зажгла керосиновую лампу над обеденным столом.

На деревянной столешнице лежала небольшая стопка писем — соседка занесла их днём из полевой почтовой конторы. Два верхних конверта были из Америки, со знакомыми светло-голубыми марками. Юрико бережно отложила их в сторону, чтобы прочесть позже, когда в доме воцарится абсолютная тишина.

Но третье письмо было другим.

Конверт из плотной, шершавой правительственной бумаги желтоватого оттенка был скреплён гербовой печатью и штампом токийской префектуры. Юрико медленно вскрыла его бамбуковым ножом. В лицо пахло архивной пылью, канцелярским клеем и холодным, казённым дымом столичных министерств.

Письмо было выведено безупречной, каллиграфической тушью.

«Уважаемая Накаяма Юрико-сан.

Вам пишет Тэмотсу Одзава, бывший старшина седьмого инженерного полка Императорской армии. Вы, возможно, помните меня: осенью сорок пятого года вы и Нисида-сан спасли мне и рядовому Сакаи жизнь в лесных зарослях близ Мавасиасато.

Настоящим хочу известить вас, что дела наши приняли важный оборот. Ныне я занимаю должность чиновника в администрации Токийской префектуры, в отделе по делам репатриантов. Широ Сакаи работает репортёром в крупной городской газете. Месяц назад он опубликовал обширный материал об отряде Химэюри — о жертвенном подвиге учениц и преподавателей Окинавы. Статья вызвала колоссальный резонанс в столице; в редакцию и министерства приходят сотни писем от матерей, потерявших детей, и ветеранов войны.

Пользуясь своим служебным положением, я направил официальную петицию в Министерство здравоохранения и социального обеспечения (Ко:сэйсё:). Я выступил с инициативой официально приравнять всех мобилизованных учениц отряда Химэюри к статусу военнослужащих и гражданских служащих императорской армии (гундзоку).

Чиновники министерства уже начали предварительное рассмотрение этого вопроса. Это великое дело, Накаяма-сан. Данный статус не только обеспечит выживших государственной поддержкой, но, что самое главное, позволит официально включить имена всех ваших погибших подруг в священные списки храма Ясукуни. Их души не останутся в неизвестных ямах Окинавы — они будут признаны ками, павшими за верность Императору и Родине. Государство наконец-то вернёт им их честное имя.

С глубоким уважением,

Тэмотсу Одзава».

Юрико дочитала до последней строчки. Бумага выпала из её пальцев и беззвучно легла на стол.

В ту же секунду её левую ладонь прошила дикая, невыносимая фантомная боль. Два маленьких, почти выцветших за три года шрама-полумесяца вдруг вспыхнули багровым, пульсирующим огнём. Боль была настолько осязаемой, физической, будто кто-то прижал к её коже раскалённое тавро.

И тут же лампа на столе начала чадить. Жёлтый огонь вытянулся вверх, и Юрико показалось, что в колеблющихся тенях на стене фанерного барака вырастают очертания огромного, зловещего здания Ясукуни — тёмного, костяного храма, построенного из черепов и перемолотых рёбер погибших детей. Из углов комнаты поползли те самые жуки-солдаты из её старых лагерных кошмаров, но теперь на них были не помятые каски, а строгие, выглаженные

костюмы столичных чиновников. Они тянули свои хитиновые лапы к коралловому памятнику в Ихаре, словно пытаясь соскрести с него живые имена.

Храм из её древних, библейских снов — Храм Тамар — снова полыхал, но теперь его сжигали не римские легионы, а сухие канцелярские перья.

Бумага задрожала в её пальцах.

«Гундзоку». Гражданские служащие Императорской армии. Вспомогательный персонал. Сухое, канцелярское слово из Токио.

Империя, которая раздавала шестнадцатилетним девчонкам глиняные гранаты и приказывала глотать цианистый калий в темноте пещер; Империя, которая трусливо капитулировала по радио, оставив их задыхаться в фосфорном дыму, пока генералы подписывали бумаги на линкорах... эта самая Империя теперь возвращалась. Она возвращалась, чтобы украсть их смерть.

Но Юрико помнила их живыми. Помнила, как Мидори смеялась над глупой шуткой. Как Шинджу плакала от страха в темноте пещеры. Как они ели украденный у солдат батат и облизывали пальцы. Они не были героинями. Они были детьми, которых заставили умирать.

Одним росчерком пера министерские клерки в столице собирались превратить испуганных, плачущих девочек, которые в свои последние минуты звали мам и хотели просто жить, в бравых, послушных солдат. В безмолвных идиолов милитаризма, чьим мнимым «героизмом» новые поколения политиков будут оправдывать новые боины. У них отняли будущее, а теперь, с помощью красивых слов о «высшей справедливости», у них отнимали саму правду об их гибели.

И это делает человек, которому они с Хинатой и Мико когда-то спасли жизнь в джунглях, — искренне веря, что он делает им величайшее благо.

Юрико сидела на скамье, крепко прижимая горящую левую руку к груди. Слез не было. Не было даже ярости. Внутри неё разлилась абсолютная, звенящая, стерильная пустота — будто её душу и сердце выжгли до самого основания, залили известью и запечатали казённым сургучом. Всё, ради чего они выживали, таскали доски, строили школу и высекали буквы на коралловом камне, рассыпалось серым, невесомым прахом.

Она медленно встала, взяла со стола плотные листы токийского письма и подошла к очагу, где ещё теплились угли. Юрико опустила бумагу в огонь.

Официальный бланк префектуры нехотя потемнел, углы свернулись, а затем тушь Одзавы вспыхнула ярким, злым пламенем. Через мгновение на углях остался лишь хрупкий, чёрный остов, который от малейшего сквозняка рассыпался и смешался с золой, не оставив после себя ни имён, ни званий.

Из-за ширмы тихо вышел Хината, протирая заспанные глаза.

— Юрико-нээ? Что это так горит? Бумагой воняет... Это письмо от Мико и Рена?

Юрико обернулась к нему. Боль в ладони медленно утихала, оставляя лишь привычный холод в шрамах. Она подошла к мальчику, мягко погладила его по жёстким волосам и улыбнулась — так, как улыбаются люди, защищающие свой последний рубеж.

— Нет, штурман. Из Америки письма хорошие, мы прочтём их завтра вместе. А это... это была просто старая, никому ненужная бумага. Ложись спать.

Глава 22. Боги Токио

Годы на Окинаве стали незаметными — так незаметно белеют виски у человека, которого видишь каждый день. Мир вокруг торопливо менял кожу, затягивал раны свежим асфальтом и смывал следы копоты весенними ливнями.

Уми Санчес пришла в школу в свой последний день на острове, когда март тысяча девятьсот сорок девятого года уже гнал по холмам запах мокрой глины и молодого риса. Она стояла в дверях классной комнаты — строгая, в темно-синем американском платье, кажущаяся чужеродной среди сосновых досок, но смотрела на парты так, словно пыталась запомнить расположение каждого сучка в настиле.

Она опустила на учительский стол тяжёлый, перевязанный бечёвкой пакет из плотной архивной бумаги. Внутри шелестели папки, исписанные мелким, бездушным канцелярским почерком: выписки из госпиталей, отчёты похоронных команд инженерных батальонов, списки Красного Креста. Сотни имён. В основном это были американцы — мальчики из Огайо и Айдахо, чьи кости остались лежать в коралловой земле, но среди них были и те окинавцы, которых удалось идентифицировать до того, как бульдозеры засыпали рвы.

— Меня переводят в Штаты, Накаяма-сан, — сказала Уми, касаясь пакета своими короткими, погрубевшими от бумажной работы пальцами. От неё пахло табаком, архивной пылью и сухим, горьковатым сандалом. — Я отдаю это вам. Кто-то должен хранить эти бумаги. Вы затеяли страшное дело. Архивы — это страшная вещь. Они затягивают. Не позволяйте мёртвым занять в вашей жизни больше места, чем живым.

— Я знаю, миссис, — ответила Юрико, прижимая тяжёлый пакет к груди, словно защищаясь им от ветра. — Но если мы её не сохраним, они просто исчезнут. Как будто их и не было. Спасибо вам.

Санчес кивнула — коротко, по-военному сухо — и вышла, растворившись в колеблющемся весеннем воздухе. Больше Юрико её никогда не видела.

А школа в Мавасиасато росла и трансформировалась, повинаясь какому-то внутреннему, почти природному ритму. Брезентовый тент, под которым дети

когда-то прятались от солнца, сначала превратился в фанерный барак, а к пятидесятому году обрёл настоящий бетонный фундамент. Стены выровняли, крышу перекрыли серым волнистым шифером, а в широких оконных рамах появилось стекло — чистое, круглое, отражающее высокое окинавское небо без следов самолётных инверсий.

Появились и другие преподаватели: молодая, звонкая девушка из Сюри, пахнувшая дешёвой пудрой, и пожилой репатриант с материка, бывший бухгалтер, который учил младших детей арифметике, больше не используя в качестве счётного материала стреляные пулемётные гильзы. Юрико всё реже брала в руки мел. В свои двадцать с небольшим лет она стала директором. Самой молодой женщиной-директором в префектуре. Её жизнь теперь состояла из бесконечных, изматывающих расписаний, ведомостей на муку и рис, поиска тетрадей и попыток выстроить нормальность на земле, которая во время сильных дождей всё ещё выталкивала на поверхность ржавые осколки и белые человеческие кости.

Книга пришла из Токио в конце тысяча девятьсот пятидесятого года. Её привёз почтальон на скрипучем велосипеде — обычный серый пакет с красной типографской маркой.

Роман назывался «Химэюри-но То:» — «Башня Белых Лилий». Его написал Исино Кэйитиро — человек, который родился на Окинаве, но уехал в столицу ещё подростком. Он не сидел в удушливой темноте пещеры Ихара, не задышался от фосфорного дыма, не слышал, как шестнадцатилетние девочки в бреду зовут матерей и просят пить, слизывая влагу со стен. Но он написал красивую историю.

Это была книга о юных, чистых, полупрозрачных девах, которые с улыбками и патриотическими песнями на устах добровольно падали на землю, словно лепестки цветов, защищая священную волю Императора. Их смерть была симметричной, очищенной от гноя, крови и испражнений. Она была завершённой и эстетичной, как ритуальная чаша зелёного чая. Роман мгновенно стал бестселлером на материке; его читали в поездах и кафе люди, которые хотели плакать светлыми, возвышенными слезами над чужой, аккуратно отмытой смертью.

Юрико прочитала её за одну ночь, сидя у керосиновой лампы, пока двенадцатилетний Хината тихо посапывал в углу, уткнувшись носом в тетрадь. Она перевернула последнюю страницу и замерла, прислушиваясь к себе. Она ждала ярости, гнева, желания разорвать бумагу и кричать, что всё было не так. Но внутри не было ничего. Только всё та же — огромная, звенящая, стерильная пустота. Слова автора были такими гладкими и круглыми, как обкатанная морем галька, что за них невозможно было зацепиться памятью. Эта история не имела никакого отношения ни к ней, ни к Мико, ни к тем девочкам, которых они

похоронили в лесу. Это были какие-то другие, выдуманные в чистом токийском кабинете существа.

То же самое повторилось в пятьдесят третьем, когда в школу на закрытый показ для взрослых привезли фильм, снятый по этой книге известным режиссёром Тадаси Имаи. Знаменитая театральная труппа Такарадзука Кагэкидан уже успела превратить трагедию в музыкальное ревю, а теперь кинокомпания «Тоэй» собирала полные залы по всей Японии, едва избавившейся от американской оккупации материка.

В тёмном классе монотонно трещал проектор. На белой простыне, натянутой поверх классной доски, красивые актрисы с безупречным кинематографическим макияжем трагично и возвышенно умирали под звуки патетического оркестра. Женщины в зале всхлипывали, утирая глаза платками. Сома, сидевший по правую руку от Юрико, на двадцатой минуте молча встал, тяжело стуча своим отполированным деревянным протезом, вышел на улицу и долго, жадно курил в темноте, глядя на звёзды.

Юрико досмотрела до конца. И снова — пустота. Только теперь эта пустота была больше — она вмещала уже не одну книгу, а целый кинозал, полный тёплых, живых людей, которые шмыгали носами и не знали, что плачут не над правдой, а над мифом о национальном духе.

А в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году пустота обрела государственную печать. Министерство здравоохранения и социального обеспечения в Токио приняло решение: официально приравнять учениц Химэюри к статусу «гундзоку» — гражданских служащих императорской армии. Это давало им право на включение в списки храма Ясукуни. Они становились богами-ками.

Окинавская ассоциация семей погибших организовала поездку в столицу на официальную церемонию вхождения в Ясукуни. Местные газеты писали об этом как о великом возвращении справедливости. В состав делегации включили Юрико, Сэйко и Усаги — выживших «лилий», чьи лица Токио хотел видеть на своих парадных перронах.

Поезд шёл на север трое суток. За окном мягкого вагона, пахнущего лаком и дорогим табаком, мелькали ухоженные, ровные поля материковой Японии. Здесь не было воронок, не было обгоревших баньянов. Эта земля не помнила войны, она была сытой и равнодушной.

На Токийском вокзале в серый мартовский день их оглушила толпа. Столица, восставшая из пепла, пахла бензином, жареным кофе и суетливой, жадной жизнью. Когда окинавская делегация ступила на платформу, воздух взорвался белыми вспышками магния. Фотокамеры щелкали, как оружейные затворы, микрофоны лезли в лица.

Их встречал Тэмотсу Одзава. Бывший старшина, которого они когда-то вытащили из гниющей ямы в лесах Мавасиасато, теперь носил безупречный тёмно-синий костюм, белоснежную рубашку и шёлковый галстук. Его лицо округлилось, шрам на щеке побледнел и выглядел почти как знак качества. Рядом с ним стоял Широ Сакаи — подтянутый столичный репортёр, уверенно опирающийся на костыли.

— Накаяма-сан, добро пожаловать, — Одзава вежливо поклонился, пахнув на неё дорогим одеколоном вместо лесной сырости. Он едва заметно понизил голос, и в его вежливом тоне проступила мягкая, чиновничья сталь: — Сейчас будут вопросы от прессы. Пожалуйста... будьте как можно спокойнее. Для послевоенной Японии это сейчас жизненно важно. Мы должны показать миру нашу стойкость и чистоту духа.

Журналисты обступили их плотным кольцом. К микрофонам протолкнулась пожилая женщина из окинавской делегации, потерявшая на войне дочь. Её лицо, иссечённое глубокими морщинами, побледнело под светом софитов, но она выпрямилась и произнесла заученную, правильную фразу, которую на следующий день напечатает «Рюкю Симпо»:

— Окинавцы сейчас юридически не являются японцами, мы под американской оккупацией. Однако наши дети сражались за Японию. Как японка, я чрезвычайно счастлива, что они стали первыми окинавскими ученицами, причисленными к Ясукуни.

Репортёры торопливо записывали в блокноты. Вспышка — ещё одна — ослепила Юрико. Микрофон сунули Сэйко. Она замерла, её тонкая шея задрожала, но она нашла в себе силы повторить то, что от неё ждали:

— Когда я вспоминаю о том, что произошло тогда, я не хочу, чтобы война повторилась снова. Многие мои подруги погибли... Я хочу, чтобы все они были причислены к Ясукуни. Это честь для них.

Юрико смотрела на Сэйко и видела, как под этой маской правильных слов бьётся в тисках испуганная девочка из пещеры. Токио получил свою идеальную картинку. Красивое женское самопожертвование, отмытое от запаха гангрены.

Вспышка фотоаппарата брызнула в глаза. На секунду она ослепла. Когда зрение вернулось, она увидела перед собой раскрытый блокнот репортёра — чистую, белую, идеальную бумагу, на которой чужие пальцы выводили ровные, красивые строчки. И вдруг ей показалось, что она видит то же самое, что видела в пещере Ихамигама: чужую руку, раздающую керамические гранаты. Только теперь вместо глины — бумага. Вместо взрывчатки — слова. Вместо «умрите с честью» — «станьте легендой».

Но Юрико не сказала ни слова. Она просто стояла, пряча левую руку в кармане, и ждала, когда это кончится.

Вечером они сидели втроём в маленьком номере дешёвой токийской гостиницы. За окном гудел неоновый, победивший город, не знающий жалости. На низком деревянном столике стояла фарфоровая бутылка дешёвого сакэ и три крошечные чашки.

Они пили молча, обжигая губы горьковатым рисовым алкоголем.

Первой не выдержала Усаги. Она с резким стуком поставила чашку на стол, закрыла лицо руками, и её плечи судорожно затряслись. Сэйко тут же пересела к ней на фuton, обняла её, прижала к себе, и через секунду тоже заплакала — беззвучно, страшно, кусая губы до крови.

Это не были слёзы облегчения. Это были слёзы абсолютного, тотального бессилия перед колоссальной государственной машиной. Токио украл их подруг во второй раз. В первый раз он забрал их жизни в пещерах. Теперь он забирал их смерть, превращая её в парадный миф, в котором не было места правде. И самое страшное — они, выжившие, сами стояли перед камерами и кивали, потому что у них больше не оставалось сил сопротивляться этой сытой, вылизанной нормальности.

Юрико не плакала. Она гладила Усаги по вздрагивающей спине, чувствуя, как внутри неё окончательно стекленеет и застывает вакуум.

Ночью Юрико уснула тяжёлым, глубоким сном, похожим на обморок. Но под утро, когда Токио ещё спал, затянутый мартовским туманом, стеклянный купол, пропитанный алкоголем, в её голове разлетелся вдребезги.

Ей снова снилась Сухая Гора.

Но здесь больше не было влажной, гнилостной духоты окинавских джунглей, не пахло морской тиной и горелой известью. Воздух на этой горе был абсолютно, стерильно сухим. Острым, как мелкое битое стекло. При каждом вдохе он царапал гортань, оседая на языке вкусом обожжённой пыли и древней бронзы. Солнце над Сухой Горой не имело ничего общего с доброй богиней Аматаэрасу, согревающей рисовые щеки. Это был слепой, яростный, белый глаз, который выжигал камни до самого чёрного базальтового основания. Он пах казнью и железом.

Юрико смотрела на мир не своими глазами.

Она видела его изнутри тяжёлого, раскалённого на солнце доспеха. Кожаный ремень шлема натирал ей подбородок, плечи ломило от веса бронзового панциря. В ноздри бил густой запах пота, оружейного масла и старой, загустевшей крови.

Она была римским легионером.

Она стояла на вершине Масады. Огромная земляная насыпь, которую в её прошлых кошмарах строили безликие жуки-солдаты, была завершена. Стены крепости пробиты. Рим вошёл внутрь.

Но битвы не было. Была тишина. Та самая гулкая тишина, которую Юрико знала лучше всего на свете — тишина пещеры Ихара после взрыва, тишина лагеря Симабуку, тишина токийского гостиничного номера.

Легионеры двигались среди тел методично, без суеты. Их тяжёлые сандалии — калиги с железными гвоздями в подошвах — стучали по опалённым камням сухо и размеренно, как молотки гробовщиков: лязг, скрежет, лязг. Они переворачивали мертвецов, проверяли пульс, заносили данные в свитки. Это была не бойня, а инвентаризация имущества. Бюрократический учёт потерь.

Мужчины, женщины, дети лежали аккуратными, страшными рядами. Они убили друг друга сами, предпочтя возвышенную, чистую смерть в огне позорному рабству.

Юрико-легионер остановилась у разрушенной каменной стены. На жёлтом, горячем песке лежала девушка.

Её длинные чёрные волосы, перехваченные простым кожаным ремешком, разметались по камням. На шее зияла ровная, страшная тёмно-красная полоса от клинка. Но её огромные, миндалевидные тёмные глаза были открыты. Они смотрели прямо в бездонное, выжженное небо.

Тамар.

Легионер медленно опустился на одно колено. Тяжёлые сочленения доспехов со скрежетом пронзили тишину. Он протянул руку в кожаной рукавице, чтобы закрыть ей веки и завершить учёт.

И вдруг мёртвые, сухие губы девушки дрогнули. Из её разорванного горла, минуя сожжённые голосовые связки, прямо в сознание Юрико ударил голос — тихий, шелестящий, как песок, трущийся о базальт:

— Теперь вы тоже Боги?

Этот сухой, безжалостный вопрос эхом разнёсся над Сухой Горой, срывая маски и круша декорации. И в этом голосе Юрико разом услышала всё: и вкрадчивый шёпот Одзавы на перроне, и пафосную музыку из кинофильма, и треск магниевых вспышек, и плач Усаги в подушку.

Мёртвые дети, превращённые в богов-ками. Девочки, чьи имена высекали на гранитных плитах храмов милитаризма только для того, чтобы оправдать будущие боины и отправить на убой новых детей. Тамар, погибшая тысячи лет назад в Иудее, и ученицы Химэюри, сгоревшие в сорок пятом — они смотрели друг на друга сквозь колодец времени, и на дне этого колодца отражалось одно

и то же бездушное лицо государства, которое забирает у своих детей сначала жизнь, а потом — правду об их смерти.

Юрико хотела закричать, но раскалённый воздух пустыни выжег ей лёгкие.

Она проснулась с резким, судорожным вдохом, словно вынырнула со дна океана.

Юрико села на футоне. Сердце колотилось в самые зубы, рубашка прилипла к спине, мокрой от ледяного пота. В комнате было тихо. В предрассветных сумерках Токио ровно дышала Сэйко, а Усаги спала, свернувшись калачиком и спрятав лицо.

Юрико подняла левую руку. В слабом розоватом свете, пробивающемся сквозь занавески, она посмотрела на свою ладонь. Два маленьких, бледных шрама-полумесяца. Печать выживания.

Тамар задала вопрос, на который у Империи не было ответа. Но он был у неё.

Юрико медленно, стараясь не скрипеть половицами, встала. Она оделась в темноте, накинула куртку и тихо вышла из номера.

Коридор гостиницы встретил её прохладой и запахом старого ковра. Она спустилась по деревянной лестнице в холл. За стойкой портье дремал пожилой японец в поношенной униформе. Услышав шаги, он вздрогнул и выпрямился:

— Доброе утро, госпожа. Что-то случилось? Для завтрака ещё слишком рано.

Юрико подошла к стойке. Её лицо было бледным, но глаза смотрели ясно и холодно, как вода в горном ручье под Окинавой. Купол в её голове окончательно исчез. Осталась только чистая, абсолютно ясная решимость.

— Мне нужен телефон, — сказала она. — Международный коммутатор.

Портье удивлённо заморгал, поправляя очки:

— Международный? Но, госпожа, в такой час... Это невероятно дорого, и связь с границей сейчас идёт через военные линии...

— Соедините меня с Соединёнными Штатами Америки, — чётко, разделяя каждое слово, произнесла Юрико. — Город Сакраменто, Калифорния. Пожалуйста.

Портье посмотрел на её прямую спину, на её левую руку, крепко сжимающую край деревянной стойки, и, больше не задавая вопросов, потянулся к тяжёлому эбонитовому аппарату.

Юрико взяла чёрную трубку. В динамике затрещало, защёлкало, и сквозь тысячи миль океанского дна, сквозь гул подводных кабелей и помех до неё донёсся далёкий, бесконечный шум волн. Она прижала трубку к уху и стала

ждать, когда на другой стороне океана, где сейчас только разгорался вечер, кто-то снимет трубку и произнесёт её имя.

Глава 23. Окинава

С того мартовского рассвета в Токио прошло шесть лет. Апрель тысяча девятьсот шестьдесят первого года выдался на Окинаве таким прозрачным, что казалось, весь воздух над архипелагом бережно вынули из небесной сети, вымыли в океане и вернули назад до прозрачного, хрустального звона. Остров, когда-то казавшийся Юрико окончательно выпотрошенным, сожжённым и превращённым в известковую крошку, теперь расцветал с какой-то безжалостной, чисто тропической, нечеловеческой пышностью. Огненные чашечки гибискусов полыхали вдоль ровных обочин новых асфальтовых дорог, тяжёлые лиловые рукава бугенвиллей душили бетонные заборы американских военных баз с их запахом бензина и дешёвого кофе, а панданусы, чьи корни когда-то впитывали фосфор и кровь, теперь упрямо тянули к солнцу свои мясистые, глянцевого цвета листья, словно никакой войны никогда не бывало.

Шестнадцать лет... Юрико считала не по календарю, а по цвету волос матери: от густого вороньего крыла до чистого зимнего хлопка.

Время здесь больше не двигалось по прямой линии. Оно свернулось в тяжёлое, влажное кольцо и кружило, точно сытая морская птица, над бесконечными взлётно-посадочными полосами Кадены и Футэнмы. Шестнадцать лет прошло с тех пор, как прежний мир разлетелся на куски, и шестнадцать лет, как этот мир торопливо, шумно и суетливо изобретал себя заново. По дорогам, взметая красную пыль, теперь носились хромированные американские «Шевроле» и тяжёлые армейские грузовики, а синее, высокое небо то и дело с оглушительным, рвущим барабанным перепонки рёвом разрезали реактивные истребители, оставляя на лазурном куполе ровные, белые, хирургические шрамы инверсионных следов.

Американская гражданская администрация — все эти строгие офицеры и чиновники из USCAR — старательно печатала зелёные банкноты типа «Б-иена», открывала новые кинотеатры и усердно следила за тем, чтобы слово «Окинава» как можно реже упоминалось в официальных бумагах. Его предписывалось заменять древним, величественным именем Королевства Рюкю. Американцы верили, что если переписать вывески, изменить название валюты и органов власти, то можно будет аккуратно, безболезненно перерезать ментальную пуповину, связывавшую местных жителей с далёким северным материком. Но память острова была похожа на дикий батат: её топтали, выжигали огнёмётами, заваливали обломками скал, а она всё равно прорастала глубоко под землёй — невидимая, упрямая и горькая.

Юрико сидела в своём кабинете директора школы в Мавасиасато. В её густых, когда-то иссиня-чёрных волосах теперь отчётливо серебрились тонкие

нити ранней седины — этот внутренний иней, часто встречавшийся у тех, кто сумел выбраться из подземных пещер Окинавы, появлялся не от возраста, а от слишком долгого созерцания тьмы. Её лицо, в юности округлое и мягкое, приобрело строгую, почти скульптурную чёткость, словно его выточил из кораллового камня долгий, неутомимый прибой. На широком дубовом столе перед ней стояли аккуратные стопки ученических тетрадей, графики дежурств учителей, ведомости на рис и сухие, отпечатанные на гектографе отчёты для американских инспекторов. Школа больше не напоминала ни брезентовый тент, хлопавший на ветру, ни фанерный барак; теперь это было прочное бетонное здание с широкими окнами, в чистых стёклах которых отражался ленивый полдневный блеск Восточно-Китайского моря.

Дверь кабинета открылась без стука, тихо и непривычно.

В проёме появилась Усаги. Она была худой, в простом, накрахмаленном хлопковом платье, но её глаза — глубоко посаженные, окружённые темными, неистребимыми тенями — по-прежнему хранили в себе вечный, полуночный сумрак пещеры Ихара. Усаги никогда не здоровалась первой, словно их разговор, начавшийся летом сорок пятого года, вообще никогда не прерывался. Она молча подошла к столу, положила на него сложенный вдвое лист свежей материковой газеты «Асахи Симбун» и разгладила сгиб сухим, нервным движением длинных пальцев.

— Прочти, — сказала Усаги. Её голос провучал ровно и плоско, как перевёрнутая глиняная чаша. — Я не знаю, кто из наших написал это им... И знать не хочу.

Она повернулась и вышла, не дожидаясь ответа. Её быстрые, абсолютно бесшумные шаги мгновенно стихли в гулком школьном коридоре, оставив после себя лишь слабый, едва уловимый запах морской соли, дешёвого мыла и придорожной пыли.

Юрико опустила взгляд на газетную страницу. Это была колонка коротких заметок и человеческих историй, напечатанная крупным, аккуратным токийским шрифтом.

«Жаворонки для Лилий, — гласил заголовок. — Трогательный дар материка для духов Окинавы».

Юрико принялась читать, и с каждой строчкой её желудок сжимался в тяжёлый, холодный узел. В заметке слащавым, тёплым тоном рассказывалось о том, как какой-то преуспевающий бизнесмен из Осаки или, возможно, из Токио получил письмо с далёкой Окинавы, в котором неизвестный автор слёзно просил: *«Я хочу отправить жаворонков из родины-Японии (бококу Нихон) к духам погибших девушек Химэюри... Если мы отправим этих птиц к кенотафу Химэюри, духи обрадуются, видя, как птицы множатся».* Растроганный столичный коммерсант тут же организовал сбор средств среди коллег, чтобы

закупить на материке большую партию певчих птиц и торжественно переправить их самолётом на южный остров.

Жаворонки. Хибари.

Птицы северных полей и умеренных широт, которые никогда, с самого сотворения мира, не водились на Окинаве. Они никогда не летали над багряной глиной Мавасиасато, не пели над острыми скалами мыса Киян, не вили гнёзд в расщелинах кораллового известняка. Погибшие девочки из отряда Химэюри — все те, с кем Юрико делила последний глоток тухлой воды, — даже не знали, как эти жаворонки выглядят, как они пахнут и как звучит их утренняя трель. Они знали крики пронзительных морских крачек, знали тихое шипение изумрудных ящериц, знали глухой, заунывный ропот ветра в зарослях колючего пандануса.

Но далёкому, сытому матерiku не была нужна суровая, кровоточащая правда Окинавы. Матерiku была жизненно необходима красивая, сентиментальная сказка, в которой она теперь присылала декоративных певчих птиц, чтобы те красиво размножались над заброшенными костями.

Юрико закрыла газету. В широкое окно лился яркий, ослепительный апрельский свет, пахнувший солью и распутившимися бугенвиллеями. На школьном дворе дети играли в догонялки, и их звонкие, беззаботные крики доносились сквозь стекло приглушённо, словно через толщу чистой океанской воды. Юрико сидела неподвижно, глядя в одну точку, пока солнце медленно не перевалило за зенит. Она аккуратно взяла газетный лист двумя пальцами, сложила его пополам, потом ещё раз, и ещё, пока он не превратился в крошечный плотный квадрат, и резким движением бросила его в корзину для бумаг.

Дома в Мавасиасато её ждали.

У фанерного крыльца — которое Сوما уже давно обшил прочными сосновыми досками, выбелил известью и превратил в настоящее, надёжное крыльцо — стоял знакомый, тяжёлый армейский «Студебеккер». Сوما когда-то выменял его на чёрном рынке в Нахе за несколько гарнитуров самодельной мебели. Из-за кузова машины уже раздавался весёлый, требовательный детский щебет, и когда Юрико свернула за угол дома, она невольно остановилась, залюбовавшись этой картиной.

Сوما сидел на невысокой каменной стенке огорода, закинув здоровую ногу на колено и тяжело опираясь руками на толстую бамбуковую трость. Ему было тридцать восемь лет, но выглядел он на все сорок пять: его лицо, сильно обветренное и потемневшее от солнца, покрывали глубокие складки у рта, руки сделались бугристыми от вечной работы с деревом. Его деревянный протез, к которому он давно привык как к собственной телу, больше не издавал того жалобного железного скрипа — старый мастер в Нахе заменил грубое кольцо на мягкий, промасленный кожаный ремень. Рядом с ним на траве сидела Нанами

в простом, но удивительно элегантном ситцевом платье. Тонкий шрам на её левой щеке со временем побледнел, превратившись в едва заметную серебристую ниточку, которая вспыхивала, когда она улыбалась. От Нанами, как и в прежние годы, пахло сухой полыньёю, уютом и домашним печёным хлебом.

У ног отца сидели две девочки. Старшей, Кэйко, было семь лет; она унаследовала отцовские пронизательные тёмные глаза и материнскую мягкую грацию. Кэйко уже училась в первом классе школы у Юрико и с гордостью носила чистый синий фартук с отутюженным белым воротничком. Младшая, четырёхлетняя Юми, держала в крошечных пальцах ветку цветущего гибискуса и увлечённо кормила яркими лепестками игрушечную деревянную лошадку, которую Сوما выточил для неё из цельного куска сосны.

Кохэку стояла на пороге дома, вытирая руки о длинный синий передник. Ей перевалило за шестьдесят, её волосы окончательно побелели, став похожими на чистый зимний хлопок, а плечи заметно опустились под грузом прожитых лет, но её руки по-прежнему оставались сильными, цепкими и точными. Она смотрела на своих внучек и улыбалась той глубокой, безмолвной, всепрощающей материнской улыбкой, которая никогда не требовала слов.

— Юрико-нээ, мы привезли рыбу! — крикнул Сوما, заметив сестру и приветливо кивнув ей в сторону колодца, где лежал мокрый пеньковый мешок. — Красный окунь, с самого утреннего улова в Итомане. Свежий, ещё морем пахнет.

Юми, младшая, подбежала к Юрико и потянула за край платья. На её круглом, загорелом личике застыло выражение величайшей серьезности.

— Тётя Юрико, — прошептала она, заглядывая вверх огромными глазами. — Папа говорит, что ты директор. Это правда?

— Правда, — Юрико присела на корточки, чтобы оказаться с ней на одном уровне.

— А что делает директор?

— Директор следит, чтобы все дети мыли ноги перед обедом.

Юми задумалась. Потом строго кивнула:

— Тогда ты плохой директор. Кэйко ноги не моет. Я видела.

За ужином разговоры текли неспешно и ровно, словно горячий, наваристый рисовый бульон. Сوما обстоятельно рассказывал о новом крупном заказе: его плотницкая артель, разросшаяся до настоящей мастерской, взялась за возведение деревянного здания для рыболовецкого кооператива на южном побережье. Нанами тихо, с мягкой улыбкой жаловалась, что Кэйко никак не хочет прилежно учить таблицу умножения, а девочка, уткнувшись носом в

тарелку с рыбой, сердито бормотала, что цифры — это ужасно скучно, а вот истории о древних королях замка Сюри, которые им рассказывает тётя Юрико, — это самое интересное на свете.

Юрико смотрела на своих маленьких племянниц и чувствовала, как где-то глубоко в её груди, под многолетними слоями застывшего пепла, медленно и упорно разворачивается что-то очень тёплое, живое и острое, напоминающее свежий корень имбиря. Жизнь продолжалась. Она была израненной, хромой, покрытой глубокими шрамами, но она упрямо и победоносно продолжалась.

Когда Сوما и Нанами уехали, усадив сонных, зевающих девочек в просторный кузов «Студебеккера», а Кохэку ушла к колодцу мыть деревянную посуду, дом погрузился в плотную, синюю, бархатную тишину. Керосиновая лампа на столе слегка чадила, отбрасывая длинные, подвижные тени на оштукатуренные и тщательно выбеленные извёсткой стены. Юрико подошла к узкому деревянному шкафу, стоявшему в углу комнаты, опустилась на колени и открыла самую нижнюю дверцу.

Оттуда мгновенно потянуло сухим, сладковатым запахом старой бумаги, сушёных трав и кондитерской ванили.

Она достала оттуда потемневшую от времени жестяную коробку из-под английского печенья, на крышке которой всё ещё едва угадывался выцветший королевский герб. Юрико открыла её и высыпала содержимое на стол. Внутри лежали письма. Десятки, сотни светло-голубых конвертов авиапочты, бережно перевязанных тонкой бечёвкой. Некоторые из них пожелтели от времени, их углы обтрепались и потрескались, другие выглядели совсем свежими, словно их доставили только вчера.

Юрико принялась медленно перебирать эти конверты, и вся её прошлая, навсегда отрезанная жизнь принялась разворачиваться перед ней, как длинный, подробный свиток. Она делала это не для того, чтобы разбередить старые раны, а потому что в эту ночь ей нужно было окончательно закрыть все круги своей памяти.

Она развернула самое первое письмо от Мико, датированное октябрём сорок восьмого года. Знакомый до последней чёрточки, мелкий и убористый почерк заставил Юрико улыбнуться:

«Дорогая Юрико. Мы наконец-то прибыли в Сакраменто. Наша квартира совсем маленькая, но очень чистая, а из большого окна виден настоящий яблоневый сад. Вчера я впервые в жизни попробовала местный американский кофе. Юрико, он ужасен! Чёрный, густой, как колёсная мазь, и горький, но Рен смеётся и говорит, что я скоро привыкну. Надеюсь, что нет...»

Письма шли в строгом хронологическом порядке, и жизнь Мико представляла на этих листах во всей своей тактильной, чувственной полноте. Она поступила на курсы медицинских сестёр, и американские профессора в госпитале Калифорнии приходили в искреннее изумление от её невероятного полевого опыта. *«Они просто не понимают, — писала Мико, — как можно было накладывать жгуты и делать перевязки без мыла, без чистой воды и в абсолютной темноте пещеры. Я рассказываю им об этом, а они смотрят на меня так, словно я свалилась с Луны. Наверное, я действительно оттуда свалилась».*

Позже Мико перевелась на ветеринарный факультет. Она выбрала лечение животных. *«Люди слишком сильно напоминают мне о тех, кому я уже никогда не смогу помочь, — объясняла она в одном из писем пятьдесят первого года. — А собаки, лошади и кошки не задают дурацких вопросов о долге и нации. Они просто хотят жить. И в этом стремлении я понимаю их лучше, чем кого бы то ни было».*

Рен вместе со своими бывшими сослуживцами по батальону открыл строительную компанию. Они занялись возведением типовых, быстросборных модернистских домов — по системе Eichler Homes. *«Рен постоянно пропадает на строительных площадках, — делилась Мико. — Он говорит мне: «Мико, мы просто строим для людей прочные деревянные каркасы и стены, а они уже сами вкладывают в них жизнь и делают из этого дом». А я смеюсь и отвечаю ему, что он по-прежнему остался переводчиком, просто теперь он переводит американские чертежи на язык человеческого уюта».*

Фотографии в коробке тоже менялись год от года. Мико отрастила длинные волосы, её лицо округлилось, полностью утратив ту страшную, пещерную, голодную остроту скул. На одном снимке она стояла в белоснежном медицинском халате на фоне аккуратной вывески «Ветеринарная клиника Сакраменто». На другом — смеялась, стоя в лёгком летнем сарафане посреди буйно цветущего яблоневого сада. На третьей фотографии, присланной зимой пятьдесят первого года, они с Реном, оба невероятно счастливые, держали на руках маленький, туго свёрнутый кружевной свёрток.

«Юрико, у нас родился мальчик, — писала Мико на обороте карточки. — Четыре месяца я не знала, как его назвать. Давать ему имена моих погибших родителей я не решилась — этот груз слишком тяжёл для нашего солнечного, тихого города. Можно мы назовём его Дзиро? В честь твоего отца. Ты ведь не будешь против, правда? Я подумала, что пусть у моего ребёнка будет имя хотя бы чьего-то отца, который не сбежал, не предал, а погиб, пытаясь спасти детей и дойти до нашей пещеры».

Юрико прижала эту фотографию к груди и на секунду закрыла глаза. За оштукатуренной стеной дома мерно и успокаивающе вздыхал океан.

Маленький Дзиро Кимура рос здоровым, черноволосым мальчишкой с широкой, белозубой американской улыбкой своего отца Рена.

Юрико перебирала эти письма медленно, словно чётки во время долгой вечерней молитвы. Она прекрасно помнила то ледяное мартовское утро тысяча девятьсот пятьдесят пятого года в Токио. Тот рассвет в гостиничном холле, когда она, потрясённая ночным кошмаром и шелестящим голосом еврейской девочки Тamar, спустилась к телефонному коммутатору. Юрико звонила в Сакраменто вовсе не для того, чтобы услышать голос Мико, и не для того, чтобы попросить Рена забрать её из этого разорённого мира. Мико уже была прекрасной, завершённой частью её прошлого — частью, которую она сама отсекала и передала в надёжные руки человека, способного подарить ей счастье.

Она звонила ради Хинаты.

Мальчик, который в шестилетнем возрасте вытаскивал раненых солдат из лесной гнили. Мальчик, который знал наизусть цену каждой галете в лагере Симабуку. Мальчик, который так отважно и весело танцевал с ней на свадьбе её старшего брата. Юрико тогда поняла, что он не должен оставаться здесь, на этом проклятом, залитом кровью клочке земли, среди коралловых надгробий, американских танков и лживых государственных мифов Токио. Он заслуживал совершенно иной жизни — жизни, где небо не падает на голову фосфорным дождём, где можно учиться и дышать полной грудью. И Рен тогда понял её с полуслова.

Через три недели после того звонка в Рен прислал телеграмму из Сакраменто: *«Оформляю документы. Мальчик едет. Всё будет хорошо. Р.К.»*.

Потребовался почти год переписки, прошений в военную комендатуру и поручительств, чтобы оформить юноше студенческую визу. Но они всё же вытащили его.

Юрико достала из жестяной коробки другую пачку писем. Конверты были чуть меньше, бумага грубее, а почтовые марки были местными, окинавскими — с изображением древних ворот замка Сюри. От Хинаты. Она вытащила самую свежую фотографию, присланную всего пару месяцев назад. На ней на фоне строгого здания калифорнийского колледжа стоял высокий, широкоплечий юноша в чистой белой рубашке с небрежно закатанными рукавами. Под мышкой он уверенно держал толстые учебники по высшей математике. Её штурман.

«Дорогая Юрико-нээ! Пишу из общежития, тут очень шумно, сосед сверху играет на гитаре и всё время фальшивит, — строчки Хинаты были быстрыми, летящими и неровными. — Математика оказалась классная — лучше, чем катакана, которую я так и не выучил нормально, помнишь? Профессор Фостер говорит, у меня голова работает. Я ему говорю: «Потому что меня учили считать на патронах». Он не понял. Американцы вообще

мало что понимают. На выходных езжу к Рену-сан, помогаю ему с чертежами. Он говорит, что я прирождённый инженер. Я ему говорю — нет, я штурман. И мы оба смеёмся, потому что оба знаем, что это одно и то же. Юрико-нээ, я очень скучаю по морю. Нашему. И по батату бабушки Кохэку. Американский картофель — это не то».

Юрико бережно перечитала это письмо трижды, затем аккуратно сложила все листы обратно в жестяную коробку и плотно закрыла крышку. Она не плакала. В её душе больше не было ни звенящей пустоты, ни горькой обиды на судьбу. Внутри неё царил тяжёлый, спокойный, кристально чистый покой, похожий на воду на самом дне глубокого колодца, из которого люди пьют в самый жаркий день. Её жизнь не была несчастной или прожитой зря. Её жизнь была её собственным, осознанным и гордым выбором.

Она отдала Мико человеку, который боготворил её. Она отдала Хинату стране, которая подарила ему будущее и математику. А себе она оставила этот остров, стареющую мать и эту память. Потому что кто-то должен был остаться здесь, на Окинаве, чтобы просто держать эти камни и не давать им окончательно рассыпаться в прах.

Она встала, вытерла руки о юбку, убрала на место коробку и подошла к тёмному окну.

На следующее утро солнце взошло над Мавасиасато пронзительным, ослепительно жёлтым диском. Воздух пах росой, мокрой травой и сладким дымом очага, над которым Кохэку уже спозаранку варила утренний рис, мерно помешивая его большой деревянной ложкой. Юрико быстро позавтракала, ополоснула лицо ледяной колодезной водой и пошла в школу.

Утро было свежим, пахнущим молодой зеленью и океанской солью. Бетонные стены школьного здания светились в лучах раннего солнца, как гладкая, чисто вымытая кожа. Юрико прошла по коридору мимо своего директорского кабинета, мимо ярких стендов с расписанием уроков и остановилась у приоткрытой двери одного из младших классов.

За ровными деревянными партами сидели дети. Им было всего по шесть-семь лет; все они были босоногими, загорелыми, в чистых синих фартуках с белыми воротничками. Они весело переглядывались, шептались, кто-то увлечённо рисовал цветными карандашами на полях тетрадей. Дочь Сомы, сидела в третьем ряду у окна и увидев её, с важным, взрослым видом стала поправлять свой фартук.

Молодая учительница, совсем недавно приехавшая по распределению из Нахи, удивлённо подняла брови, заметив в дверях директора:

— Накаяма-сан? Доброе утро. Вы хотите что-то проверить?

— Доброе утро, госпожа Такада, — тихо сказала Юрико, проходя внутрь класса. — Извините меня. Можно мне взять у вас ровно одну минуту от урока?

Учительница почтительно кивнула и сразу отступила в сторону, к окну.

Юрико прошла к учительской доске. При её появлении тридцать пар круглых, чистых, живых и абсолютно ничего не знающих о пещерах, газе и гранатах глаз мгновенно устремились на неё. Дети замерли, вытянувшись в струнку, с тем особым, благоговейным уважением, с каким первоклассники всегда смотрят на директора школы. Юрико окинула взглядом эти лица и почувствовала, как внутри неё разворачивается нечто колоссальное, простое и ясное, как сам этот рассвет.

— Доброе утро, дети, — сказала она. Её голос был негромким, но он мгновенно заполнил классную комнату от угла до угла, заставив притихнуть даже самых заядлых шептунов. — С сегодняшнего дня в расписании вашей школы появляется новый, самый важный предмет. Мы с вами начнём изучать историю. Но не ту историю, которую пишут в учебниках Токио, и не ту, которую привезли с собой на кораблях американцы. Мы будем изучать подлинную историю нашего собственного архипелага. Историю Рюкю. Нашей земли, наших предков, наших древних королей, наших защитников и наших морей. Вы должны знать, откуда мы пришли на эту землю. Только тогда вы будете чётко понимать, куда вам идти дальше.

Дети слушали её, буквально открыв рты от изумления. Маленькая Кэйко в третьем ряду смотрела на свою тётю огромными, сияющими от гордости глазами.

Юрико повернулась спиной к классу. Она протянула руку и взяла со специальной подставки кусок чистого белого мела. Он лёг в её ладонь удивительно знакомо, прочно и уверенно, как ложится в руку мастера его самый главный, проверенный временем инструмент. Мел пах известью и сухой, строгой чистотой. Два бледных, выцветших шрама-полумесяца на её левой ладони — печать её выживания — теперь были абсолютно спокойны. Они больше не горели и не болели.

Юрико высоко подняла руку и принялась писать на чёрной грифельной доске. Каждый штрих ложился чётко, размашисто и уверенно, оставляя на тёмной поверхности жирные, ослепительно белые, светящиеся линии. Мел ритмично и сухо поскрипывал в тишине класса, а мелкая белая пыль сыпалась на деревянный пол тихим, мерным, благословенным дождём.

Когда она отступила на шаг, дети прочли:

«Мы — Окинава».

Эпилог

Она шла, и весь мир двигался вместе с ней — послушно, мерно, не спрашивая о направлении. Её хрупкое тело оставалось неподвижным центром мироздания, а сама земля под босыми ногами прокручивалась, точно раскалённый, влажный гончарный круг. Время от времени этот круг подносил к её ступням всё новые и новые лоскуты самого себя — то жирную охристую глину, то белый, рассыпающийся в пыль коралловый щебень, то тёмную, прелую, перегнойную почву, пахнущую недавним грозовым дождём. И девочка принимала каждый этот шаг как неизбежный дар.

Она не помнила, сколько уже длится этот путь. Она вообще не знала, существует ли в этом мире такое сухое, расчётливое слово, как «сколько». Время для неё здесь не было ни прямой стрелой, пущенной из лука, ни замкнутым скрипучим колесом; оно казалось густой, прозрачной янтарной смолой. В этой смоле мухи далёкого прошлого и легкокрылые стрекозы нерождённого будущего застыли бок о бок, навсегда, и любое ушедшее мгновение можно было в деталях рассмотреть вблизи, просто поднеся к свету, как мутную старинную бусину.

Солнце замерло в зените, когда тропа — или то упрямое её подобие, что ещё не успело окончательно зарости колючим, пронзительно-зелёным диким панданусом, — круто свернула между двух колоссальных каменных глыб. Эти камни были здесь чужими. Они явно не принадлежали этому острову: приваленные друг к другу, как два тяжело дышащих, смертельно уставших путника, они излучали глубокий подземный, минеральный холод. Этот холод пробирался под кожу наперекор всему дневному зною.

Между камнями зияла пещера.

Это был даже не вход в скалу, а глубокий, рваный, судорожный выдох самой земли. Из тёмной, бархатной известняковой пасти наружу струился прохладный, осязаемый сквозняк. Он пах мокрым мелом, подземными ключами, древним мхом и чем-то ещё — едва различимым, сладковатым и горьким привкусом. Так пахнет вековая архивная бумага, пергамент, подсохший библиотечный клей и чернильная тушь.

Девочка остановилась у самого проёма. Ей не нужно было принимать решений. За неё всё давно решило само это место — его вековая тяжесть, его терпеливая, нечеловеческая тишина. Она просто перешагнула невидимую границу между яростным светом и глухим мраком.

Пещера впустила её. Тьма опустилась на плечи как тяжёлое, согретое чужим теплом шерстяное одеяло. Глаза привыкали долго. Сначала была лишь глухая, непроглядная чернота, в которой не существовало ни форм, ни расстояний. Но затем, медленно, как проступает водяной знак на вымоченном

листе, из полумрака начали вырастать очертания огромного, храмового пространства с ровным, утопанным полом. И в тот же миг за её спиной едва слышно щёлкнул невидимый замок — или так показалось: звук был тихим, как захлопнувшаяся старая книга.

Девочка протянула левую руку и коснулась стены. Пористая, известняковая порода под подушечками её пальцев отозвалась живым, подспудным теплом. Камень был обитаем. Он сплошь состоял из чужих прикосновений, насечек и следов, словно тысячи рук до неё пытались оставить здесь свои невидимые манифесты.

И она увидела знаки. Вся пещера была исписана сверху донизу.

Самый нижний, древний слой почти растворился в камне. Это были бледные, едва различимые силуэты рыб и морских черепах, нацарапанные кончиком обожжённой палки тысячи лет назад, когда море стояло выше, а сам архипелаг был лишь голым коралловым рифом. Рыбы плыли друг за другом в вечной каменной воде, плавно и безмолвно, не задевая углов скалы.

Выше, прямо поверх рыб, кто-то в иные века глубоко вырезал угловатые, торжественные иероглифы. Они тянулись по стенам сплошной лентой, сплетаясь в узоры, в которых при долгом рассмотрении начинали пульсировать странные, манящие картины: горящая сигнальная башня, тонкая фигурка девочки на крепостной стене, бегущий к морю человек и огромная белая птица, улетающая в сторону материка.

Ещё выше темнели буквы, начертанные древесным углём, тушью и чем-то бурым, похожим на высохшую кровь. Алфавиты сменяли друг друга, строчки путались. Кто-то писал безупречно ровно, как пишут учителя на школьных досках; кто-то выводил знаки криво, с детским нажимом и ошибками. Некоторые оставляли на известняке лишь одно-единственное имя, дату или след ногтя.

Девочка не умела читать эти тексты, но её кожа, впитывая вековую пыль этих стен, понимала всё без переводчиков. Это были списки. Бесконечные списки потерь, признания в любви, рецепты ячменного хлеба, чертежи домов и отчаянные мольбы о спасительной воде. Но её пальцы, скользя по шершавому камню, различали иное: где буквы были глубокими, твёрдыми, уверенными — там рука не боялась. Где они дрожали, прерывались, крошились под ногтем — там рука просила. А где на стене оставался только тонкий, почти невидимый след — там рука просто хотела, чтобы кто-то знал: я была здесь.

В глубине пещеры, в естественном углублении у дальней стены, возвышались книги.

Там лежали старые фолианты в растрескавшихся кожаных переплётках, пахнущие дублёной шкурой; свитки, аккуратно свёрнутые в бамбуковые трубки

и перевязанные пеньковой нитью; ученические тетради с каллиграфическими завитками; помятые обрывки американского картона и пожелтевшие газетные вырезки. Страницы их шелестели от невидимого подземного сквозняка — тихо и мерно, как дышит во сне сытый зверь. И в этом шелесте девочке слышалось одно бесконечное, многоголосое, непрекращающееся эхо: *«Не забудь. Пожалуйста, не забудь нас»*.

Между стопками бумаг, прямо на сухой земле, в бесконечном хаосе чужих потерь лежали вещи. И среди тысяч ржавых ключей, стёртых монет и обломков костей её взгляд выхватил знакомые очертания: кусок белого мела, стёртый до самой середины... обломок латунной гильзы, отполированный до зеркального блеска долгим хранением в чужих карманах... тонкую шёлковую нить, перехваченную на конце простым узлом... стебель полыни, сохранивший запах пустыни... тёмная монета с изображением ритуальной чаши... и кусок пористой тёмной глины величиной с детский кулак — с тонким швом от литейной формы и едва заметной трещинкой у самого основания.

Они не были выставлены напоказ. Они просто тихо лежали в общей массе памяти, став частью этого огромного, дышащего мира.

Девочка опустилась на корточки перед этой сокровищницей памяти. Она не притрагивалась к вещам — она просто впитывала их присутствие, теряя счёт векам и минутам. Здесь, под каменным куполом, смерть не имела власти, потому что всё, что было названо и сохранено, продолжало жить своей тихой, подспудной, невидимой глазу жизнью.

Луч заходящего солнца ударил ей в лицо внезапно, словно окликнул по имени.

Этот золотой, косой луч пробил густой полумрак у входа, пахнувший раскалённым базальтом и солью. Он скользнул по стенам, и на одно короткое, абсолютное мгновение всё внутри пещеры ожило: рыбы и черепахи вспыхнули яркой охрой, угольные буквы налились тёплым янтарным блеском, а старые фотографии обрели пугающую глубину. Люди на них словно дёрнулись, вздохнули и снова замерли. Свет озарил белый мел, медную монету и глиняный осколок.

Солнце садилось.

Девочка поднялась и вышла наружу. Вечернее солнце уже коснулось горизонта, напоминая огромную, раскалённую докрасна медную монету. Всё небо над пустошью расцвело густым, тревожным, пурпурно-гранатовым заревом, похожим на гигантскую хризантему. Воздух пах остывающей землёй, полынью и далёким, едва различимым дымом очага — тем самым горьковатым, родным запахом, который она знала лучше собственного имени.

Она присела на плоский валун у входа, прорезанный белыми жилами кварца, похожими на застывшие во времени молнии. Камень принял её как родную — он был ещё горячим, он помнил всё это долгое утро, помнил ту девочку, которая сидела здесь давным-давно, обхватив руками острые коленки. Камень не задавал вопросов. Камень просто хранил тепло.

И именно тогда, чуть левее своего бедра, на самом прогретом сколе кварца, она увидела её.

Там лежала ящерица. Маленький, древний дракон, словно вылитый из малахитовой крошки и жидкой потемневшей бронзы. Её изумрудные крапинки тускло поблёскивали в умирающих лучах. Она лежала абсолютно неподвижно, распластав пёстрое брюшко по шершавому валуну, и жадно, доверчиво пила уходящее солнце — всей своей чешуёй, каждой клеткой своего маленького тела.

У неё не было хвоста.

На том месте, где когда-то от гибкого тела отходила длинная, изящная чешуйчатая дуга, теперь виднелась лишь короткая, ровная, тупая культя. Она была покрыта молодой, нежной, полупрозрачной кожей — светлее и чище, чем остальное тело. Хвост не отрос заново. Он просто зажил.

Девочка затаила дыхание. Она медленно, стараясь не делать резких движений, протянула руку, остановив испачканные в меловой пыли пальцы в вершке от рептилии. Ящерица не шевельнулась. Она лишь чуть повернула треугольную голову, и её жёлтый глаз с вертикальным зрачком посмотрел на девочку без страха — с вековым, спокойным равнодушием победителя.

А затем из узкой, тёплой расщелины между камнями на свет выскользнула крошечная тень. За ней — ещё одна. И ещё.

Три микроскопические, полупрозрачные ящерки, размером не больше детского мизинца, весело и суетливо выбежали на горячий валун. Их чешуя была сине-зелёной, чистой, ещё не знавшей ни придорожной пыли, ни оторванных хвостов. Они резво носились вокруг большой бесхвостой ящерицы, наступали ей на голову, смешно валились с кварцевых уступов и тут же карабкались обратно, путаясь и застревая в собственных длинных, идеальных, безупречных хвостиках.

Мать не оборачивалась и не следила за ними. Ей это было не нужно. Она просто была здесь — тёплая, живая.

Девочка смотрела на этот невозможный, крошечный триумф жизни над тленом, и в её глазах зажглись точно такие же зелёные искры.

Она опустила взгляд на свою левую ладонь. Два бледных, выцветших шрама в виде полумесяцев — печать ящерицы, её клеймо — вдруг перестали казаться знаком беды. Они превратились в самые обычные человеческие линии. Линии, которые есть на руке у каждого, кто когда-либо брал в пальцы мел,

чтобы написать на доске самое главное слово, или держал топор, чтобы построить прочный дом для своих детей, или обнимал близкого человека перед долгой дорогой.

Девочка улыбнулась. Не так, как улыбаются уставшие взрослые — с усилием и затаённой грустью, а так, как умеют улыбаться только чистые дети: всем лицом, всем телом, словно эта улыбка была просто ещё одним естественным способом вдыхать этот воздух.

Солнце окончательно закатилось за край земли. Небо сгустилось, став тяжёлым, бархатным, и в этой глубокой индиговой синеве, острой и чистой, как колотый океанский лёд, одна за другой начали вспыхивать звёзды — огромные, пульсирующие, яркие, словно кто-то щедрой рукой рассыпал по небесному сукну горсть раскалённых углей.

Девочка не шевелилась. Она бережно закрыла ладонь, сохраняя в ней последнее тепло ушедшего дня, откинулась назад, опираясь руками о твёрдый, надёжный кварц, и стала смотреть на небо. Камень под ней медленно, капля за каплей, отдавал тепло, накопленное за века.

Всё было именно так, как и должно быть.

Мир был.

Примечания

Студенты «Химэюри» (Химэюри Гакутотай, Студенческий корпус принцесс Лилии, Корпус лилий) — группа из 222 учеников и 18 учителей женской средней школы Окинавы Дайичи и женской школы Окинава Шихан, сформированной в подразделение медсестёр Императорской японской армии во время битвы за Окинаву в 1945 году. Были мобилизованы японской армией 23 марта 1945 года.

До того, как подразделение «Химэюри» было распущено, было убито только 19 студентов. 18 июня 1945 года части был отдан простой приказ о расформировании — «идти домой» среди тотальной войны, школьницы понесли высокие потери в результате перекрёстного огня японских и американских войск. Рано утром следующего дня (19 июня) 5 учителей и 46 студентов, прятавшихся в третьем хирургическом убежище Ихара, были убиты боеприпасами с белым фосфором во время атаки американских войск, не подозревающих о присутствии студентов.

Всего из 240 девушек и преподавателей, мобилизованных в женский студенческий корпус, погибли более половины — 136 человек.

Некоторые из них совершили самоубийство различными способами из-за страха целомудрия под угрозами систематических изнасилований солдатами США. Прежде чем боевые действия успели окончательно закончиться, некоторые студенты бросились с зубчатых скал на берегу моря

Арасаки, отравились цианидом (ранее вводившимся солдатам в неизлечимом состоянии), а другие покончили с собой ручными гранатами, переданными им японскими солдатами.

Кроме того, 91 студент и преподаватель из отряда «Химеюри», не мобилизованный в составе студенческого корпуса, также погибли в битве за Окинаву. Всего, из студентов и преподавателей, мобилизованных японской армией в префектуре Окинава, во время боёв погибли 1552 юноши (в том числе из отряда «Тэккэцу Киннотай» сформированного из старшеклассников), 441 девушка и 99 преподавателей — в общей сложности 2092 человека. Битва за Окинаву была беспрецедентным наземным сражением с участием мирного населения, в результате которого погибло около 200 000 человек — до трети населения острова.

До аннексии Японской империей в 1879 году Окинава была отдельным независимым государством — королевством Рюкю. На островах говорят на окинавском языке (группа языков рюкю), который сильно отличается от стандартного японского.

После второй мировой войны Окинава, до 1972 года, находилась под управлением США, поэтому на островах до сих пор расположены крупные американские военные базы

Сикарии — боевая еврейская группировка, действовавшая в Иудее в I веке н. э. Радикальное, впоследствии отколовшееся крыло движения zelotim, вставшее на путь прямых нападений и террористических актов. Сикарии боролись с римским влиянием в Иудее, нападали на представителей римских властей и лояльных представителей местной знати, вредили их имуществу.

Древнеримский историк Иосиф Флавий писал, что убийцы предпочитали действовать в толпе, что позволяло произвести больший эффект и заодно давало нападавшему возможность скрыться. В качестве оружия использовали короткий меч или кинжал, носимый под одеждой и давший название группировке.

Были вместе с zelotim (однако часто конфликтуя с ними) одной из движущих сил в Первой иудейской войне (с 66 года н.э.). Вели активные боевые действия, одновременно уничтожая запасы собственного продовольствия для большего ожесточения борющихся евреев. После падения Иерусалима (70 год н.э.) последние иудейские сикарии покончили с собой в Масаде в 73 году после трёхлетней осады.

Согласно трудам Иосифа Флавия, когда римские легионы пробили стену иудейской цитадели, они обнаружили 960 трупов. Защитники предпочли убить своих жён и детей, а затем (по жребию) друг друга, чтобы не попасть в рабство. Последний из сикариев поджёг крепость и покончил с собой. Выжили только 2

женщины и 5 детей. Они не разделили общую участь, а спрятались в подземных водопроводных трубах (цистернах).